

ЗАХАР ПРИЛЕПИН



ОБИТЕЛЬ

РОМАН

Говорили, что в молодости прадед был шумливый и злой. В наших краях есть хорошее слово, определяющее такой характер: взгальный.

До самой старости у него имелась странность: если мимо нашего дома шла отбившаяся от стада корова с колокольцем на шее, прадед иной раз мог забыть любое дело и резво отправиться на улицу, схватив второпях что попало — свой кривой посох из рябиновой палки, сапог, старый чугунок. С порога, ужасно ругаясь, бросал он вслед корове любую вещь, оказавшуюся в его кривых пальцах. Мог и пробежаться за напуганной скотиной, обещая кары земные и ей, и её хозяевам.

“Бешеный чёрт!” — говорила про него бабушка. Она произносила это как “бешаный чорт!”. Непривычное для слуха “а” в первом слове и гулкое “о” во втором завораживали.

“А” было похоже на бесноватый, почти треугольный, будто бы вздёрнутый вверх прадедов глаз, которым он в раздражении тарачился, — причём второй глаз был сощурен. Что до “чорта” — то когда прадед кашлял и чихал, он, казалось, произносил это слово: “Ааа... чорт! Ааа... чорт! Чорт! Чорт!” Можно было предположить, что прадед видит чёрта перед собой и кричит на него, прогоняя. Или с кашлем выплёвывает каждый раз по одному чёрту, забравшемуся внутрь.

ПРИЛЕПИН Захар — прозаик, публицист, музыкант, обладатель премий “Национальный бестселлер”, “СуперНацБест” и “Ясная Поляна”... Известность ему принесли романы “Патологии” (о войне в Чечне) и “Санька” (о молодых “нацболах”), “пацанские” рассказы — “Грех” и “Ботинки, полные горячей водкой”. В новом романе “Обитель” писатель обращается к другому времени и другому опыту.

По слогам повторяя за бабушкой: “бе-ша-ный чорт!” — я вслушивался в свой шёпот, и в знакомых словах вдруг образовывались сквозняки из прошлого, где прадед был совсем другой: юный, дурной и бешеный.

Бабушка вспоминала: когда она, выйдя замуж за деда, пришла в дом, прадед страшно колотил “мамано” — её свекровь, мою прабабку. Причём свекровь была статна, сильна, сурова, выше прадеда на голову и шире в плечах, но боялась и слушалась его беспрекословно.

Чтоб ударить жену, прадеду приходилось вставать на лавку. Оттуда он требовал, чтоб она подошла, хватал её за волосы и бил с размаху маленьким жёстким кулаком в ухо.

Звали его Захар Петрович.

“Чей это парень?” — “А Захара Петрова”.

Прадед был бородат. Борода его была словно бы чеченская, чуть курчавая, не вся ещё седая, хотя редкие волосы на голове были белым-белы, невесомы и пушисты. Если из старой подушки к голове прадеда налинал птичий пух, его было сразу и не различить.

Пух снимал кто-нибудь из нас, безбоязненных детей — ни бабушка, ни дед, ни мой отец головы прадеда не касались никогда. И если даже по добромуту шутили о нём, то лишь в его отсутствие.

Ростом он был невысок, в четырнадцать я уже перерос его, хотя, конечно же, к тому времени Захар Петров сеутулился, сильно хромал и понемногу вращал в землю — ему было то ли восемьдесят восемь, то ли восемьдесят девять; в паспорте был записан один год, а родился он в другом, то ли раньше даты в документе, то ли позже — со временем и сам запомнил.

Бабушка рассказывала, что прадед стал добрее, когда ему перевалило за шестьдесят, но только к детям. Души не чаял во внуках, кормил их, тешил, мыл — по деревенским меркам всё это было диковато. Спали они все по очереди с ним на печке, под его огромным кудрявым пахучим тулупом.

Мы наезжали в родовой дом погостить — и лет, кажется, в шесть мне тоже несколько раз выпадало это счастье: ядрёный, шерстяной, дремучий тулуп... Я помню его дух и поныне.

Сам тулуп был, как древнее предание — искренне верилось: его носили и не могли износить семь поколений, весь наш род грелся и согревался в этой шерсти. Им же укрывали только что, в зиму рождённых телятей и поросёток, переносимых в избу, чтоб не перемерзли в сарае. В его огромных рукавах вполне могло годами жить тихое домашнее мышинное семейство, и, если долго копошиться в тулупных залежах и закоулках, можно было найти махорку, которую прадед прадеда не докуривал веком назад, ленту из венчального наряда бабушки моей бабушки, сахариный обкусочек, потерянный моим отцом, который он в своё голодное послевоенное детство разыскивал три дня и не нашёл.

А я нашёл и съел вперемешку с махоркой.

Когда прадед умер, тулуп выбросили — чего бы я тут ни плёл, а был он старьё старьём и пах ужасно.

Девяностолетие Захара Петрова мы праздновали на всякий случай три года подряд.

Прадед сидел, на первый неумный взгляд, преисполненный значения, а на самом деле весёлый и чуть лукавый: как я вас обманул — дожил до девяности и заставил всех собраться.

Вышивал он, как и все наши, наравне с молодыми до самой старости, и когда за полночь — а праздник начинался в полдень! — чувствовал, что хватит, медленно поднимался из-за стола и, отмахнувшись от бросавшейся помогать бабки, ни на кого не глядя, шёл к своей лежанке.

Пока прадед выходил, все оставшиеся за столом молчали и не шевелились.

“Как генералиссимус идёт...” — сказал, помню, мой крёстный отец и родной дядька, убитый на следующий год в дурацкой драке.

То, что прадед три года сидел в лагере на Соловках, я узнал ещё ребёнком. Для меня это было почти то же самое, как если бы он ходил за зипунами в Персию при Алексее Тишайшем или добирался с бритым Святославом до Тмутаракани.

Об этом особенно не распространялись, но, с другой стороны, прадед нет-нет да и вспоминал то про Эйхманиса, то про взводного Крапина, то про поэта Афанасьева.

Долгое время я думал, что Мстислав Бурцев и Кучерава — однополчане прадеда, и только потом догадался, что это всё лагерники.

Когда мне в руки попали соловецкие фотографии, удивительным образом я сразу узнал и Эйхманиса, и Бурцева, и Афанасьева.

Они воспринимались мной почти как близкая, хоть и нехорошая родня.

Думая об этом сейчас, я понимаю, как короток путь до истории — она рядом. Я прикасался к прадеду, прадед воочию видел святых и бесов.

Эйхманиса он всегда называл “Фёдор Иванович”, было слышно, что к нему прадед относится с чувством трудного уважения. Я иногда пытаюсь представить, как убили этого красивого и неглупого человека — основателя концлагерей в Советской России.

Лично мне прадед ничего про соловецкую жизнь не рассказывал, хотя за общим столом иной раз, обращаясь исключительно к взрослым мужчинам, преимущественно к моему отцу, прадед что-то такое вскользь говорил, каждый раз словно заканчивая какую-то историю, о которой шла речь чуть раньше — к примеру, год назад, или десять лет, или сорок.

Помню, мать, немного бахвалясь перед стариками, проверяла, как там дела с французским у моей старшей сестры, а прадед вдруг напомнил отцу, — который, похоже, слышал эту историю, — как случайно получил наряд по ягоды, а в лесу неожиданно встретил Фёдора Ивановича, и тот заговорил по-французски с одним из заключённых.

Прадед быстро, в двух-трёх фразах, хриплым и обширным своим голосом набрасывая какую-то картинку из прошлого — и она получалась очень внятной и зримой. Причём вид прадеда, его морщины, его борода, пух на его голове, его смешок, напоминавший звук, когда железной ложкой шкрябают по сковороде, — всё это имело не меньшее, а большее значение, чем сама его речь.

Ещё были истории про баланы в октябрьской ледяной воде, про огромные и смешные соловецкие веники, про перебитых чаек и собаку по кличке Блэк.

Своего чёрного беспородного щенка я тоже назвал Блэк.

Щенок, играясь, задушил одного летнего цыпленка, потом — другого, и перья раскидал на крыльце, следом — третьего... В общем, однажды прадед схватил щенка, вприпрыжку гонявшего по двору последнего курёнка, за хвост и с размаху ударил об угол каменного нашего дома. После первого удара щенок ужасно взвизгнул, а после второго смолк.

Руки прадеда до девяноста лет обладали если не силой, то цепкостью. Лубяная соловецкая закалка тащила его здоровье через весь век. Лица прадеда я не помню, разве что бороду, и в ней — рот наискосок, жующий что-то, зато руки, едва закрою глаза, сразу вижу: с кривыми иссиня-чёрными пальцами, в курчавом грязном волосе. Прадеда и посадили за то, что он зверски избил уполномоченного. Потом его ещё раз чудом не посадили, когда он собственноручно перебил домашнюю скотину, которую собирались обобществлять.

Когда я смотрю, особенно в нетрезвом виде, на свои руки, то с некоторым страхом обнаруживаю, как с каждым годом из них прорастают скрученные, с семью латунными ногтями пальцы прадеда.

Штаны прадед называл шкерами, бритву — мойкой, карты — святцами, про меня, когда я ленился и полёживал с книжкой, сказал как-то: “...О, лежит ненаряженный...” — но без злобы, в шутку, даже как бы одобряя.

Так, как он, больше никто не разговаривал ни в семье, ни во всей деревне.

Какие-то истории прадеда дед передавал по-своему, отец мой — в новом пересказе, крёстный — на третий лад. Бабушка же всегда говорила про лагерную жизнь прадеда с жалостливой и бабьей точки зрения, иногда будто бы вступающей в противоречие с мужским взглядом.

Однако ж общая картина понемногу начала складываться.

Про Галю и Артёма рассказал отец, когда мне было лет пятнадцать, — тогда как раз наступила эпоха разоблачений и покаянного юродства. Отец к слову и вкратце набросал этот сюжет, необычайно меня поразивший уже тогда.

Бабушка тоже знала эту историю.

Я всё никак не могу представить, как и когда прадед поведал всё это отцу — он вообще был немногословен; но вот рассказал всё-таки.

Позднее, сводя в одну картину все рассказы и сверяя это с тем, как было на самом деле, согласно обнаруженным в архивах отчётам, докладным запискам и рапортам, я заметил, что у прадеда ряд событий слился воедино и какие-то вещи случились подряд, в то время как они были растянуты на год, а то и на три.

С другой стороны, что есть истина, как не то, что помнится.

Истина — это то, что помнится.

Прадед умер, когда я был на Кавказе, — свободный, весёлый, камуфлированный.

Следом понемногу ушла в землю почти вся наша огромная семья, только внуки и правнуки остались — одни, без взрослых.

Приходится делать вид, что взрослые теперь мы, хотя я никаких разительных отличий между собой четырнадцатилетним и нынешним так и не обнаружил.

Разве что у меня вырос сын, и ему теперь четырнадцать лет.

Так случилось, что пока все мои старики умирали, я всё время находилсь где-то далеко и ни разу не попал на похороны.

Иногда я думаю, что мои родные живы, иначе куда они все подевались?

Несколько раз мне снилось, как я возвращаюсь в свою деревню и пытаюсь разыскать тулуп прадеда, лажу, сдирая руки, по каким-то кустам, тревожно и бессмысленно брожу вдоль берега реки, у холодной и грязной воды, потом оказываюсь в сарае: старые грабли, старые косы, ржавое железо — всё это случайно валится на меня, мне больно; дальше почему-то я забираюсь на сеновал, копаюсь там, задыхаясь от пыли, и кашляю: “Чорт! Чорт! Чорт!”

Ничего не нахожу.

КНИГА ПЕРВАЯ

— Il fait froid aujourd'hui.

— Froid et humide.

— Quel sale temps, une véritable fièvre.

— Une véritable peste...¹

— Монахи тут, помните, как говорили: “В труде спасаемся!” — сказал Василий Петрович, на мгновение переведя довольные, часто мигающие глаза с Фёдора Ивановича Эйхманиса на Артёма. Артём зачем-то кивнул, хотя не понял, о чём шла речь.

— C'est dans l'effort que se trouve notre salut?² — переспросил Эйхманис.

— C'est bien cela!³ — с удовольствием ответил Василий Петрович и так сильно потрянул головой, что высыпал на землю несколько ягод из корзины, которую держал в руках.

— Ну, значит, и мы правы, — сказал Эйхманис, улыбаясь и поочерёдно глядя на Василия Петровича, на Артёма и на свою спутницу, не отвечающую, впрочем, на его взгляд. — Не знаю, что там со спасением, а в труде монахи знали толк.

¹ — Сегодня холодно.

— Холодно и сыро.

— Это не погода, а лихорадка.

— Не погода, а чума. (фр.)

² — В труде спасаемся? (фр.)

³ — Именно так! (фр.)

Артём и Василий Петрович в отсыревшей и грязной одежде, с чёрными коленями, стояли на мокрой траве, иногда перетаптываясь, размазывая по щекам лесную паутину и комаров пропахшими землёй руками. Эйхманис и женщина были верхом: он — на гнедом норовистом жеребце, она — на пегом, немолодом, будто глуховатом.

Снова затеялся дождь, мутный и колкий для июля. Задул ветер, неожиданно холодный даже для этих мест.

Эйхманис кивнул Артёму и Василию Петровичу. Женщина молча потянула поводья влево, чем-то будто бы раздражённая.

— Посадка-то у неё не хуже, чем у Эйхманиса, — заметил Артём, глядя всадникам вслед.

— Да, да... — отвечал Василий Петрович так, что было понятно: слова собеседника не достигают его слуха. Он поставил корзину на землю и молча собирал высыпавшиеся ягоды.

— С голода вас шатает, — то ли в шутку, то ли всерьёз сказал Артём, глядя сверху на кепку Василия Петровича. — Шестичасовой отзвонил уже. Нас ждёт прекрасное хлебалово. Картошка сегодня или гречка, как думаете?

Из леса к дороге подтянулись ещё несколько человек бригады ягодников.

Не дожидаясь, пока сойдёт на нет настырная морось, Василий Петрович и Артём зашагали в сторону монастыря. Артём чуть прихрамывал — пока ходил за ягодами, подвернул ногу.

Он тоже устал, не меньше Василия Петровича. К тому же Артём снова очевидно не выполнил нормы.

— Я на эту работу больше не пойду, — тяготясь молчанием, негромко сказал Артём Василию Петровичу. — К чёрту бы эти ягоды. Наелся за неделю, а радости — никакой.

— Да, да... — ещё раз повторил Василий Петрович, но, наконец, справился с собою и неожиданно ответил:

— Зато без конвоя! Весь день не видеть ни этих, с чёрными околышами, ни лягавой роты, ни “леопардов”, Артём.

— А пайка у меня будет уполовиненная и обед без второго, — парировал Артём. — Треска варёная, тоска зелёная.

— Ну, давайте я вам отсыплю, — предложил Василий Петрович.

— Тогда у нас обоих будет недостача по норме, — мягко посмеялся Артём. — Едва ли это принесёт мне радость.

— Вы же знаете, каких трудов стоило мне получить сегодняшний наряд... И всё равно ведь не пни корчевать, Артём, — Василий Петрович понемногу оживился. — А вы, кстати, заметили, чего ещё в лесу нет?

Артём что-то такое точно заметил, но никак не мог понять, что именно.

— Там не орут эти треклятые чайки! — Василий Петрович даже оставил себя, и подумав, съел одну ягоду из своей корзины.

В монастыре и в порту от чаек не было проходу, к тому же за убийство чайки полагался карцер — начальник лагеря Эйхманис отчего-то ценил эту крикливую и наглую соловещью породу, что, впрочем, было необъяснимо.

— В чернике есть соли железа, хром и медь, — поделился знанием, съев ещё одну ягоду, Василий Петрович.

— То-то я чувствую себя, как медный всадник, — мрачно сказал Артём. — И всадник хром.

— Ещё черника улучшает зрение, — сказал Василий Петрович. — Вот, видите звезду на храме?

Артём всмотрелся.

— И?

— Скольконечная эта звезда? — спросил Василий Петрович крайне серьёзно.

Артём секунду всматривался, потом всё понял, и Василий Петрович понял, что тот догадался, — оба тихо засмеялись.

— Хорошо, что вы только многозначительно кивали, а не разговаривали с Эйхманисом — у вас весь рот в чернике, — сквозь смех процедил Василий Петрович, и стало ещё смешней.

Пока рассматривали звезду и смеялись по этому поводу, бригада обошла их — и каждый посчитал необходимым заглянуть в корзины стоявших на дороге.

Василий Петрович и Артём остались в некотором отдалении одни. Смех быстро сошёл на нет, и Василий Петрович вдруг разом осуровел.

— Знаете, это постыдная, это отвратительная черта, — заговорил он трудно и с неприязнью. — Мало ведь того, что он просто решил побеседовать со мной, — он обратился ко мне по-французски! И я сразу готов всё простить ему. И даже полюбить его! Я сейчас приду и проглочу это вонючее варево, а потом полезу на нары кормить вшей. А он поест мяса, а потом ему принесут ягоды, которые мы вот здесь собрали. И он будет чернику запивать молоком! Я же должен, простите великодушно, наплевать ему в эти ягоды, а вместо этого несу их с благодарностью за то, что этот человек умеет говорить по-французски и снисходит до меня! Но мой отец тоже умел по-французски! И по-немецки, и по-английски! А как я дерзил ему! Как унижал отца! Чего же здесь я не надерзил, старая я коряга? Как я себя ненавижу, Артём! Чёрт меня раздери!

— Всё-всё, Василий Петрович, хватит, — уже иначе засмеялся Артём; за последний месяц он успел полюбить эти монологи...

— Нет, не всё, Артём, — сказал Василий Петрович строго. — Я тут стал вот что понимать: аристократия — это никакая не голубая кровь, нет. Это просто люди хорошо ели из поколения в поколение, им собирали дворовые девки ягоды, им стелили постель и мыли их в бане, а потом расчёсывали волосы гребнем. И они отмылись и расчесались до такой степени, что стали аристократией. Теперь мы вывозились в грязи, зато эти — верхом, они откормлены, они умыты — и они... хорошо, пусть не они, но их дети — тоже станут аристократией.

— Нет, — ответил Артём и пошёл, с лёгким остервенением растирая дождевые капли по лицу.

— Думаете, нет? — спросил Василий Петрович, нагоняя его. В его голосе звучала явная надежда на правоту Артёма. — Я тогда, пожалуй, ещё ягодку съем. ...И вы тоже съешьте, Артём, я угощаю. Держите, вот даже две.

— Да ну её, — отмахнулся Артём. — Сала нет у вас?

* * *

Чем ближе монастырь — тем громче чайки.

Обитель была угловата — непомерными углами, неопытна — ужасным разором.

Тело её выгорело, остались сквозняки, мшистые валуны стен.

Она высилась так тяжело и огромно, будто была построена не слабыми людьми, а разом, всем своим каменным туловом упала с небес и уловила оказавшихся здесь в западню.

Артём не любил смотреть на монастырь: хотелось скорее пройти ворота и оказаться внутри.

— Второй год здесь бедую, а каждый раз рука тянется перекреститься, когда вхожу в кремль, — поделился Василий Петрович шёпотом.

— Так крестились бы, — в полный голос ответил Артём.

— На звезду? — спросил Василий Петрович.

— На храм, — отрезал Артём. — Что вам за разница — звезда, не звезда, храм-то стоит.

— Вдруг пальцы-то отломают, лучше не буду дураков сердить, — сказал Василий Петрович, подумав, и даже руки спрятал поглубже в рукава пиджака. Под пиджаком он носил поношенную фланелевую рубашку.

— ...А во храме орава без пяти минут святых на трёхъярусных нарах... — завершил свою мысль Артём. — Или чуть больше, если считать под нарами.

Двор Василий Петрович всегда пересекал быстро, опустив глаза, словно стараясь не привлекать понапрасну ничьего внимания.

Во дворе росли старые берёзы и старые липы, выше всех стоял тополь. Но Артёму особенно нравилась рябина — ягоды её нещадно обрывали или на заварку в кипяток, или просто, чтоб сжевать кисленького, а она оказывалась несносно горькой... Только на макушке ещё виднелось несколько гроздей. Отчего-то всё это напоминало Артёму материнскую причёску.

Двенадцатая рабочая рота Соловецкого лагеря занимала трапезную едностолшную палату бывшей соборной церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы.

Шагнули в деревянный тамбур, поприветствовав дневальных — чеченца, чью статью и фамилию Артём никак не мог запомнить, да и не очень хотел, и Афанасьева — антисоветская, как он сам похвастался, агитация — ленинградского поэта, который весело поинтересовался: “Как в лесу ягода, Тёма?” Ответ был: “Ягода в Москве, замначальника ГэПэУ. А в лесу — мы”.

Афанасьев тихо хохотнул, чеченец же, как показалось Артёму, ничего не понял, хотя разве догадаешься по их виду? Афанасьев сидел, насколько возможно развалившись на табуретке, чеченец же то шагал туда-сюда, то присаживался на корточки.

Ходики на стене показывали без четверти семь.

Артём терпеливо дожидался Василия Петровича, который, набрав воды из бака при входе, цедил, отдуваясь, в то время как Артём опустошил бы кружку в два глотка... собственно, в итоге выхлебал целых три кружки, а четвёртую выпил себе на голову.

— Нам таскать эту воду! — сказал чеченец недовольно, извлекая из рта каждое русское слово с некоторым трудом. Артём достал из кармана несколько смятых ягод и сказал: “На”; чеченец взял, не поняв, что дают, а догадавшись, брезгливо катнул их по столу; Афанасьев поочередно поймал все и покидал в рот.

При входе в трапезную сразу ударил запах, от которого за день в лесу отвыкли: немойтой человеческой мерзости, грязного, изношенного мяса. Никакой скот так не пахнет, как человек и живущие на нём насекомые; но Артём точно знал, что уже через семь минут привыкнет и забудется, и сольётся с этим запахом, с этим гамом и матом, с этой жизнью.

Нары были устроены из круглых, всегда сырых жердей и неструганных досок.

Артём спал на втором ярусе. Василий Петрович — ровно под ним: он уже успел обучить Артёма, что летом лучше спать внизу — там прохладней, а зимой — наверху, “...потому что тёплый воздух поднимается куда?..” На третьем ярусе обитал Афанасьев. Мало того, что ему было жарче всех, туда ещё непрестанно подкапывало с потолка — гнилые осадки давали испарения от пота и дыханья.

— А вы будто и неверующий, Артём? — не унимался внизу Василий Петрович, пытаясь продолжить начатый на улице разговор и одновременно разбираясь со своей ветшающей обувкой. — Дитя века, да? Начитались всякой дряни в детстве, наверное? *Дыр бул щыл* в штанах, *чары навьи* на уме, *Бог умер своей смертью*, что-то такое, да?

Артём не отвечал, уже прислушиваясь, не тащат ли ужин, хотя раньше времени пожрать давали редко.

На сбор ягод он брал с собой хлеб — с хлебом черника шла лучше, но докучливый голод, в конечном счёте, не утоляла.

Василий Петрович поставил на пол ботинки с тем тихим бережением, что свойственно неизбалованным женщинам, убирающим на ночь свои украшения. Потом долго перетряхивал вещи и, наконец, горестно заключил:

— Артём, у меня опять украли ложку, вы только подумайте.

Артём тут же проверил свою — на месте ли: да, на месте, и миска тоже. Раздавил клопа, пока копошился в вещах. У него уже воровали миску. Он тогда взял у Василия Петровича 22 копейки местных соловецких денег взаймы и купил миску в лавке, после чего выцарапал “А” на дне, чтоб, если украдут, опознать свою вещь. При этом отлично понимая, что смысла в отметке почти нет: уйдёт миска в другую роту — разве ж дадут посмотреть, где она да кто её скоблит.

Ещё клопа раздавил.

— Только подумайте, Артём, — ещё раз повторил Василий Петрович, не дождавшись ответа и снова перерывая свою кровать.

Артём промычал что-то неопределённое.

— Что? — переспросил Василий Петрович.

— Подумал, — ответил Артём и добавил, дабы утешить товарища:

— В ларьке купите. А сейчас моей поужинаем.

Вообще Артёму можно было и не принохиваться — ужин неизменно предварялся пением Моисея Соломоныча: тот обладал замечательным чутьём на пищу и всякий раз начинал подвывать за несколько минут до того, как дежурные вносили чан с кашей или супом.

Пел он одинаково воодушевлённо всё подряд — романсы, оперетки, еврейские и украинские песни, пытался даже на французском, которого не знал, что можно было понять по отчаянным гримасам Василия Петровича.

— Да здравствует свобода, советская власть, рабоче-крестьянская воля! — негромко, но внятно исполнял Моисей Соломонович безо всякой, казалось, иронии. Череп он имел длинный, волос чёрный, густой, глаза навывкате, удивлённые, рот большой, с заметным языком. Распевая, он помогал себе руками, словно лоя проплывающие мимо в воздухе слова песен и строа из них башенку.

Афанасьев с чеченцем, семена ногами, внесли на палках цинковый бак, затем ещё один.

На ужин строились повзводно, занимало это всегда не меньше часа. Взводом Артёма и Василия Петровича командовал такой же заключённый, как они, бывший милиционер Крапин — человек молчаливый, суровый, с приросшими мочками ушей. Кожа лица у него всегда была покрасневшая, будто обваренная, а лоб выдающийся, крутой, какой-то особенно крепкий на вид, сразу напоминающий давно виданные страницы то ли из учебного пособия по зоологии, то ли из медицинского справочника.

В их взводе, помимо Моисея Соломоновича и Афанасьева, имелись разнообразные уголовники и рецидивисты, терский казак Лажечников, три чеченца, один престарелый поляк, один молодой китаец, детина из Малороссии, успевший в гражданскую повоевать за десяток атаманов и — в перерывах — за красных, колчаковский офицер, генеральский денщик по прозвищу Самовар, дожина чернозёмных мужиков и фельетонист из Ленинграда Граков, отчего-то избегавший общения со своим земляком Афанасьевым.

Ещё под нарами, в царящей там несусветной помойке — ворохах тряпья и мусора — два дня как завёлся беспризорник, сбежавший то ли из карцера, то ли из восьмой роты, где в основном и обитали такие, как он. Артём один раз прикормил его капустой, но больше не стал, однако беспризорник всё равно спал поближе к ним.

“Как он догадывается, Артём, что мы его не выдадим? — риторически, с легчайшей самоиронией поинтересовался Василий Петрович. — Неужели у нас такой никчёмный вид? Я как-то слышал, что взрослый мужчина, не способный на подлость или, в крайнем случае, убийство, выглядит скучно. А?”

Артём смолчал, чтоб не отвечать и не сбивать себе мужскую цену.

Он прибыл в лагерь два с половиной месяца назад, получил из четырёх возможных первую рабочую категорию, обещавшую ему достойный труд на любых участках, невзирая на погоду. До июня пробыл в карантинной, тринадцатой, роте, отработав месяц на разгрузках в порту. Грузчиком Артём пробовал себя ещё в Москве, лет с четырнадцати, и к этой науке был приноровлён, что немедленно оценили десятники и нарядчики. Кабы ещё кормили получше и давали спать побольше, было б совсем ничего.

Из карантинной Артёма перевели в двенадцатую.

И эта рота была не из лёгких, режим немногим мягче, чем в карантинной. В 12-й тоже трудились на общих работах, часто вкалывали без часов, пока не выполнят норму. Лично обращаться к начальству права не имели — исключительно через комвзвода. Что до Василия Петровича с его французским, так Эйхманис в лесу с ним первым заговорил.

Весь июнь двенадцатую гоняли частью на баланы, частью — на уборку мусора в самом монастыре, частью — корчевать пни, а ещё — на сенокос, на кирпичный завод, на обслуживание железной дороги. Городские не всегда умели косить, другие не годились на разгрузку, кто-то попадал в лазарет, кто-то — в карцер, и партии без конца заменяли и смешивали.

Баланов — работы самой тяжёлой, муторной и мокрой — Артём пока избежал, а с пнями намучился: никогда и подумать не мог, насколько крепко, глубоко и разнообразно деревья держатся за землю.

— Если не рубить корни по одному, а разом огромной силою вырвать пень, то он в своих бесконечных хвостах вынесет кус земли размером с купол Успенской! — в своей образной манере то ли ругался, то ли восхищался Афанасьев.

Норма на человека была 25 пней в день.

Дельных заключённых, спецов и мастеров переводили в другие роты, где режим был попроще, но Артём всё никак не мог решить, где он, недоучившийся студент, может пригодиться и что, собственно, умеет. К тому же решить — это ещё полдела; надо, чтоб тебя увидели и позвали.

После пней тело ныло, как надорванное; наутро казалось, что сил больше для работы нет. Артём заметно похудел, начал видеть еду во сне, постоянно искать запах съестного и остро его чувствовать, но молодость ещё тянула его, не сдавалась.

Вроде бы помог Василий Петрович, выдав себя за бывалого лесного собирателя, — впрочем, так оно и было, — заполучил наряд по ягоды и протащил за собой Артёма, но обед в лес каждый день привозили остывший и не по норме: видно, такие же зэки-развозчики вдосталь отхлёбывали по дороге, а в последний раз ягодников вообще забыли покормить, сославшись на то, что приезжали, но разбредшихся по лесу собирателей не нашли. На развозчиков кто-то нажаловался, им влили по трое суток карцера, но сытней от этого не стало.

На ужин нынче была гречка, Артём с детства ел быстро, здесь же, присев на лежанку Василия Петровича, вообще не заметил, как исчезла каша; вытер ложку об испод пиджака, передал её старшему товарищу, сидевшему с миской на коленях и тактично смотревшему в сторону.

— Спаси Бог, — тихо и твёрдо сказал Василий Петрович, зачёрпывая разваренную, безвкусную, на сопливой воде изготовленную кашку.

— Угу, — ответил Артём.

Допив кипяток из консервной банки, заменявшей кружку, вспрыгнул, рискуя обрушить нары, к себе, снял рубаху, разложил её вместе с портянками под собой как покрывало, чтоб подсушились, влез руками в шинель, накрутил на голову шарф и почти сразу забылся, только успев услышать, как Василий Петрович негромко говорит беспризорнику, имевшему обыкновение во время кормёжки неслишком дёргать обедающих за брюки:

— Я не буду вас кормить, ясно? Это ведь вы у меня ложку украли?

Ввиду того, что беспризорник лежал под нарами, а Василий Петрович сидел на них, со стороны могло показаться, что он говорит с духами, грозя им голодом и глядя перед собой строгими глазами.

Артём ещё успел улыбнуться своей мысли, и улыбка сползла с губ, когда он уже спал, — оставался час до вечерней поверки, зачем время терять. В трапезной кто-то дрался, кто-то ругался, кто-то плакал; Артёму было всё равно.

За час ему успело присниться варёное яйцо — обычное варёное яйцо. Оно светилось изнутри желтком, будто наполненным солнцем, источало тепло, ласку. Артём благоговейно коснулся его пальцами — и пальцам стало горячо. Он бережно надломил яйцо, оно распалось на две половинки белка, в одной из которых, безбожно голый, призывный, словно бы пульсирующий, лежал желток. Не пробуя его, можно было сказать, что он неизъяснимо, до головокращения сладок и мягок. Откуда-то во сне взылась крупная соль, и Артём посолил яйцо, отчётливо видя, как падает каждая крупинка и как желток становится посеребрённым — мягкое золото в серебре. Некоторое время Артём рассматривал разломанное яйцо, не в силах решить, с чего на-

чать — с белка или желтка. Молитвенно наклонился к яйцу, чтобы бережным движением слизнуть соль.

Очнулся на секунду, поняв, что лижет свою солёную руку.

* * *

Из двенадцатой выходить ночью было нельзя — парашу до утра оставляли прямо в роте. Артём приучил себя вставать между тремя и четырьмя — шёл с ещё зажмуренными глазами, по памяти, с сонной остервенелостью съёсывая с себя клопов, пути не видя... зато ни с кем не делил своего занятия.

Обратно возвращался, уже чуть различая людей и нары.

Беспризорник так и спал прямо на полу, видна была его грязная нога. “Как не подох ещё...” — подумал Артём мимолётно. Моисей Соломонович храпел певуче и разнообразно. Василий Петрович во сне, не первый раз заметил Артём, выглядел совсем иначе — пугающе и даже неприятно, словно сквозь бодрствующего человека выступал иной, незнакомый.

Укладываясь на ещё не остывшую шинель, Артём полупьяными глазами осмотрел трапезную с полтора сотнями спящими заключённых.

“Дико! — подумал он, зажмуриваясь, испуганно и удивлённо. — Лежит человек, ничего не делает, и так... большую часть... жизни...”

В другом конце вспыхнула спичка — кто-то, не стерпев, захотел передавить хоть одно клопное семейство при свете. Клопы даже ночью непрерывно ползли по стойкам нар, по стенам, падали откуда-то сверху...

Артём открыл на малый всполох спички глаза, увидел, как кто-то из второго звзда полез в чужой мешок. Встретился взглядом с вором, зажмурился, отвернулся, забыл навсегда.

И тут же разбудил его утренний, пятичасовой колокол, а спустя несколько мгновений — заоравший Афанасьев:

— Рота, подъём!

Сегодня Артём ненавидел Афанасьева; вчера кричал другой дневальный, гортанным голосом, — и ненависть была к нему.

Через минуту плохо различимый в противной полутьме Моисей Соломонович уже пел:

— Где вы теперь, кто вам целует пальцы? Куда ушёл ваш китайчонк Ли?

Артём склонился на китайца, ночевавшего совсем рядом, но тот, похоже, не слышал слов песни: сидел на своём втором ярусе, гладил шею и лицо, словно под руками вновь обретал себя, своё тело и сознание.

— Ты, б..., оперетка, заткнись! — крикнул кто-то из ещё не поднявшихся с нар блатных.

Моисей Соломонович споткнулся на середине слова.

— Я же вроде бы негромко, — сказал он в никуда, разводя руками.

Молчал Моисей Соломонович, впрочем, недолго, вскоре снова еле слышно заурчал что-то — вносили пищу.

Можно было встать в очередь и ждать минут сорок, пока дойдёт до тебя, но Артём развивал в себе терпение, чтоб не тратить время впустую.

Пересев под лампочку, успел подшиться и полистать местный, в лагере выпускаемый самими же эсками журнал “Соловецкие острова”. Его Василий Петрович брал в библиотеке, видимо, для поддержания едкой неприязни к лагерной администрации на должном уровне. Артём в журнале читал чаще всего поэтическую страничку, — надо сказать, весьма слабую, разве только Борис Ширяев, не без старания слагавший с чужих голосов, обращал на себя внимание. Освободился он или ещё нет?.. Журнальные стихи, какими б они ни были, Артём заучивал наизусть и повторял их про себя иногда, сам не очень понимая, зачем.

Только разобравшись со всеми этими делами, Артём встал в очередь: как раз оставалось несколько человек.

— Артём, вы не передумали? — поинтересовался Василий Петрович, возвращая ему вымытую ложку.

— Нет, не пойду, — ответил Артём с улыбкой, сразу поняв, что речь идёт о наряде. — Не хлопочите за меня, не сто́ит.

— Поставят вас на баланы, голубчик, и взвоете. Не вы первый. Одумайтесь, — строго сказал Василий Петрович. — Я пять дней подряд делал полторы нормы на ягодах — сегодня меня поставили старшим. Скоро на северо-восточном берегу пойдёт смородина и малина, имейте в виду. У них тут к тому же растёт замечательная ягода шикша — она же сика, очень полезная, судя по названию.

— Нет, — повторил Артём. — У меня с моей... шикшой всё в порядке.

— В лесу можно увидеть настоящего полевого шмеля, как у нас, в Тульской губернии, — совсем уж беспомощно прибавил Василий Петрович. — А крапиву в человеческий рост, помните, с вами встретили? А птицы? Там птицы поют!

— Там одна птица так стрекочет — словно затвор передёргивают, неприятно, — сказал Артём. — И комарья в лесу втрое больше. Не хочу.

— Вам ещё зиму предстоит пережить, — сказал Василий Петрович. — Вы ещё не знаете, что такое соловецкая зима!

— А вы и зимой собрались ягоды собирать? — засмеялся Артём, тут же укорив себя за некоторую дерзость, но Василий Петрович и вида не подал.

Моисей Соломонович, даром, что пел, а всё слышал. Нежданно оказался возле нар Василия Петровича и, прервав песню, спросил:

— Освобождается место в бригаде? Артём не хочет? И правильно — он юн, зол, крепок! Василий Петрович, я мог бы, пусть на время, заменить Артёма. Не смотрите на меня так неприязненно, вы даже не знаете, как я точно вижу ягоду в траве, у меня дар!

Василий Петрович только рукой махнул и пошёл по каким-то своим делам.

— Так мы договорились? — звал его Моисей Соломонович, ласково глядя вслед. — Я вас отблагодарю, у меня на днях ожидается посылка от мамочки.

Мамочкой Моисей Соломонович называл и жену, и свою мать, и нескольких разной степени родства тёток, и даже, кажется, кого-то ещё.

— А вас, Артём, ждёт замечательная водолечебница на Соловецком курорте, — сказал Моисей Соломонович, подмигнув большим, как яйцо, глазом. — Заезд на три года даёт гарантию крепкого здоровья на весь век. У вас ведь три?

Артём прыгнул со своих нар и как-то так спросил: “А у вас?” — что Моисей Соломонович сразу пропал.

— Остолоп, — сказал Артёму вдруг образовавшийся возле нар Крапин. — Сдохнешь.

Он имел такое обыкновение: нагрубить и потом ещё стоять с минуту, ждаль, что ответят. Артём молчал, закусив губу и глядя мимо комвзода, повторяя про себя два слова: “Проклятый кретин”. Артём боялся, что его ударят, и ещё больше боялся, что все увидят, как его ударили.

Моисей Соломонович вроде бы разбирался с вещами и перетряхивал свои кофты, но по спине было видно: он слушает изо всех сил, чем всё закончится.

Скомандовали построение на утреннюю поверку.

Строились в коридоре. На выходе сильно замешкались, с кем-то начали пререкаться, набычась лбами, чеченцы, всегда державшиеся вместе, Крапин, у которого в руке был дрын — палка для битья, — подогнал блатных, которых не любил особенно и злобно, а они ему отвечали затаённой ненавистью; досталось дрынком среди иных будто бы случайно Артёму, но Артём был уверен, что Крапин видел, кого бил, и ударил его нарочно.

— Больно? — пока строились, участливо спросил Василий Петрович, видя, как скривился Артём.

— Мама моя так шутила, когда мы с братом собирались к вечеру и просили ужинать: “А мальчишкам-дуракам толстой палкой по бокам!” — вдруг вспомнил Артём, невесело ухмыляясь. — Знала бы...

Пока томился в строю, Крапин не шёл у него из головы. Глядя перед собой, он всё равно, до рези в глазу, различал слева, метрах в десяти, пока-тый красный лоб и приросшую мочку уха.

Артём никак не хотел стать причиной насулленного внимания и малопо-нятного раздражения комвзвода: жаловаться тут некому, управы не най-дётся, зато на тебя самого... управу найдут скоро.

С первого дня в лагере он знал одно: главное, чтоб тебя не отличали, не помнили и не видели все те, кому и не нужно видеть тебя, а сейчас по-лучалось ровно наоборот. Артём не боялся боли, и его б не очень унизило, когда б ему попало как равному среди всех остальных; тошно, когда тебя за-чем-то отметили.

“Дались этому крестину мои наряды, — с грустью и одновременно со зло-бой думал Артём. — Я никакой работы не боюсь! Может, я в ударники хо-чу, чтоб мне срок уполовинили! Черники мне столько не собрать с этой, мать её, шикшой”.

Пока он размышлял обо всём этом, не заметил, как дошла до него пе-рекличка заключённых, и очнулся, только когда его толкнули локтем.

— Какое число? — в ужасе спросил Артём стоявшего рядом. То был ки-таец, и он, коверкая язык, повторил свой номер в строю. Артём вспомнил, что именно эта цифра только что звучала, и назвал следующую.

Поймал боковым зрением ещё один взбешённый взгляд Крапина.

“Что ж такое!” — выругался он на себя, желая, как в детстве, запла-кать, когда случалась такая же нелепая и назойливая череда неудач.

— Смир-р-р-но! Равнение на середину! — проорал ротный.

Ротным у них был грузин — то ли по прозвищу, то ли по фамилии Ку-черава — невысокий, с глазами навывкате, с блестящими залысинами тип, напоминавший Артёму изображение беса. Как и все ротные в лагере, он был одет в темно-синий костюм с петлицами серого цвета и фуражку, которую носить не любил и часто снимал, тут же отирая грязным платком пот с го-ловы.

— Здравствуй, двенадцатая рота! — гаркнул Кучерава, выпучивая бе-шеные глаза.

Артём, как учили, сосчитал до трёх и во всю глотку гаркнул:

— Здра! — хоть криком хотелось ему выделиться, но разве кто заметит твою ретивость в общем хоре?

Ротный доложил дежурному по лагерю о численном составе и отсутст-вии происшествий.

Чекист принял доклад и сразу ушёл.

— Отщепенцы, мазурики, филоны и негодяи! — с заметным акцентом обратился к строю ротный, который выглядел так, словно пил всю ночь и по-спал час перед подъёмом: глаза его были красны, чем сходство с бесом толь-ко усиливалось. — Выношу повторное предупреждение: за игру в карты и за изготовление карт...

Дальше ротный, не стыдясь монастырских стен, дурно, к тому же путая падежи — не “...твою мать”, а отчего-то “...твоей матери”, — выругался. Потом долго молчал, вспоминая, и, кажется, время от времени задрёмывая.

— И второе! — вспомнил он, качнувшись. — В сентябре возобновит ра-боту школа для заключённых лагеря. Школа имеет два отделения. Первое — по ликвидации полной безграмотности, второе — для малограмотных. Вто-рое, в свою очередь, разделяется ещё на три части: для слабых, для средних, для относительно сильных. Кроме общей и математической грамоты будут учить... этим... естествознанию с географией... и ещё обществоведению.

Строй тихо посмеивался; кто-то поинтересовался, будут ли изучать на ге-ографии, как короче всего добраться из Соловков в Лондон, и научат ли, кстати, неграмотных английскому языку.

— Да, научат, — вдруг ответил ротный, услышав нечутким ухом разго-воры в строю. — Будут специальные кружки по английскому, французско-му и немецкому, а также литературный и натуралистический кружки, — с последними словами он едва справился, но смысл Артём уловил.

Рядом с Артёмом стоял колчаковский офицер Бурцев, всегда подтяну-

тый, прилизанный, очень точный в делах и движениях — его небезуспешно выбрита щека брезгливо подрагивала, пока выступал Кучерава. Характерно, что помимо Бурцева во взводе был рязанский мужик и бывший красноармеец Авдей Сивцев, кстати, малограмотный.

Ротный, пока боролся со словами, сам несколько распросонился.

— Половина из вас читать и писать не умеет.

“А другая половина говорит на трёх языках”, — мрачно подумал Артём, косясь на Бурцева.

— Вас всех лучше бы свести под размах! Но советская власть решила вас обучить, чтобы из вас вышел толк. Неграмотные учатся в обязательном порядке, остальные — по желанию. Желаящие могут записываться уже сейчас, — ротный неровным движением вытер рот и махнул рукой, что в это нелёгкое для него утро обозначало команду “Вольно!”.

— Запишемся в школу — от работы освобождать будут? — выкрикнул кто-то, когда строй уже смешался и загудел.

— Школа начинается после работы, — ответил ротный негромко, но все услышали.

Кто-то презрительно хохотнул.

— А вам вместо работы школы подавай, шакалы? — вдруг заорал ротный, и всем сразу расхотелось смеяться.

С нарядами разбирались тут же — за столиками сидели нарядчики, распределяли, кого куда.

Пока Артём ждал своей очереди, Крапин прошёл к одному из столов — у Артёма от одного вида взводного зазудело в спине, как раз там, куда досталось дрынном.

Зуд не обманул — на обратном пути Крапин бросил Артёму:

— Привыкай к новому месту жительства. Скоро насовсем туда.

Василий Петрович, стоящий впереди, обернулся и вопросительно посмотрел на Артёма; тот пожал плечами. Меж лопатками у него скатилась капля пота. Левое колено крупно и гадко дрожало.

Нарядчик спросил фамилию Артёма и, подмигнув в тусклом свете “летучей мыши”, сказал:

— На кладбище тебе.

Авдей Сивцев всё искал очередь, которая записывается в школу. Никакой очереди не было.

* * *

Работа оказалось не самой трудной, зря пугался.

А они даже обнялись с Василием Петровичем на прощанье — тот, как и собирався, опять отправился по ягоды, захватив на этот раз Моисея Соломоновича.

— Артём... — начал торжественно Василий Петрович, держа его за плечи.

— Ладно, ладно, — отмахнулся тот, чтоб не раскиснуть совсем. — Хотел бы наказать Крапин — отправил бы на глиномялку... Узнаем сейчас, что за кладбище. Может, меня в певчие определили.

В Соловецком монастыре оставался один действующий храм — святого Онуфрия, что стоял на погосте. С тех пор как лагерь возглавил Эйхманис, там вновь разрешили проводить службы и любой зэка, имевший “сведение” — постоянный пропуск на выход за пределы монастыря, — мог их посещать.

— Певчие в Онуфриевской — да! В церквях Советской России таких не сыскать, — сказал Василий Петрович, разулыбавшись. — Моисей Соломонович и туда просился, Артём. Но там целая очередь уже выстроилась из оперных артистов. Такие баритоны и басы, ох...

Артёма направили, конечно, не в певчие, а на снос старого кладбища в другой стороне острова.

С ним в бригаде были Авдей Сивцев, чеченец Хасаев, казак Лажечников, представлявшийся всегда по имени-отчеству: “Тимофей Степаньч”, — что,

к слову сказать, вполне шло к его курчавой бороде и мохнатым бровям: “У такой бороды с бровями отчество быть обязано”, — говорил Василий Петрович по этому поводу Артёму в своей тёплой, совсем не саркастической манере.

— Пошто кресты-то ломать? — спросил Сивцев конвойного, когда дошли.

Вообще говорить с конвойными запрещалось, но запрет сплошь и рядом нарушался.

— Скотный двор тут будет, — сказал конвойный хмуро; по виду было не понять, шутит или открывает правду.

— И так монастырь переделали в скотный двор, по кладбищам пошли теперь, — сказал мужик негромко.

Конвойный смолчал и, присев на лавочку возле крайней могилки, вытащил папироску из портсигара.

“Наверняка у какого-нибудь местного бедолаги забрал”, — мельком подумал Артём.

Винтовки при охраннике не было — конвой часто ходил без оружия; а на многих работах охраны не было вообще. Конвойных набирали из бывших, угодивших в лагерь чекистов, — в основном, надо сказать, безусловной сволочи.

Говорили, что, если сложатся удобные обстоятельства, — и, естественно, при наличии оружия, — конвойный может убить заключённого, например, за грубость или если приглянулась какая-то вещь, вроде этого портсигара, а потом наврать что-нибудь про то, что “чуть не убёг, товарищ командир”.

Но Артём сам таких случаев не видел, в разговоры особенно не верил, к тому же дорогих вещей у него при себе не было, а бежать он не собирался. Некуда бежать: вся жизнь впереди, её не обгонишь.

Появился десятник, по дороге отвлекшийся на ягоды; в руке он держал один топор, а второй — под мышкой. Ещё издали заорал, плюясь недождёванной ягодой:

— Что стоим? На всю работу — один день! Чтоб к вечеру не было тут ни кладбища, ни крестов... ни надгробий! Всё стаскиваем в одну кучу! Пока не сделаем работу — отбоя не будет! Хоть до утра тут ковыряйтесь! Спать будете в могилах, а не уйдёте!

— Скелеты тоже вынать наружу? — спросил Сивцев.

— Я из тебя скелет выну наружу! — ещё громче заорал десятник.

— Ну-ка, за работу, трёханая ты лошадь! — нежданно гаркнул на Сивцева конвойный, векочив с лавки.

Тот шарахнулся, как от горячей головни, ухватился за подвернувшийся старый крест на могиле и повалился вместе с ним.

С этого и пошла работа.

“Кладбище так кладбище, — успокаивал себя Артём. — Дерево рубишь — оно хотя бы живое, а тут все умерли”.

Поначалу Артём считывал имена похороненных монахов, но через час память уже не справлялась. Зацепилась только одна дата — его рождения, но сто лет назад, в тот же день и тоже в мае. Дата смерти была — 1843-й, декабрь.

“Мало... — с усмешкой, то ли о покойном, то ли о себе, подумал Артём; и ещё подумал: — Что там у нас будет в 1943-м?”

Было солнечно; на солнце всегда вилось куда меньше гнуса.

Сначала Артём, потом чеченец, а следом Лажечников разделили по поясе. Один Сивцев так и остался в своей рубахе: как у большинства крестьян, шея его была выгоревшей, морщинистой, а видневшееся в вороте рубахи тело — белым.

Все понемногу вошли в раж: кресты выламывали с остервенением, если не поддавались — рубили, Сивцев ловко обходился со вверенным ему топором; ограды раскачивали и, если те не рушились, крушили и топтали. Надгробия сначала сносили в одно место и складывали бережно, будто они ещё могли пригодиться, и покойные потом бы их заново разобрали по могилам, разыскав свои имена.

— Извиняйте, потревожим, — приговаривал казак Лажечников, читая имена, — ...Елисей Савватьевич... Тихон Миронович... и вы извиняйте,

Пантелемон Иваныч... — но потом запыхался, залился потом, заткнулся. Через час всякий памятник уже раскурочивали без почтения и пощады, поднимали с криком, тащили, хрипло матерясь, и бросали, как упадёт.

Будто бы восторг святотатства отражался порой в лицах.

“Есть в том грех, нет? — снова рассеянно думал Артём, тяжело дыша и поминутно отирая лоб. — Когда бы я так лежал в земле — стало б мне обидно... что креста надо мной нет... а надгробный камень с моим именем... свален вперемешку... с остальными... далеко от могилы?”

Отвлёк от раздумий Сивцев — улучил минутку и, проходя мимо конвойного, сказал негромко:

— А про лошадей так нельзя, милоч. На лошади весь крестьянский мир едет. Ты сам-то всю жизнь в городе, наверно? Родаки из фабричных?

— Чего? — не понял конвойный; Сивцев ушёл со своим обломанным деревянным крестом к общей куче, где их было под сотню, а то и больше.

— Ни мёртвым, ни живым... покоя большаки... не дают, — шептал мужик, которого молчание, похоже, томило больше всех.

Работу сделали неожиданно скоро — всех мёртвых победили на раз.

Кресты смотрелись жутковато: будто случилась большая драка меж костяных инвалидов.

Запалил костёр с одной стороны десятник, не отказавший себе в удовольствии, а с другой — чеченец, который потом всё яростней и яростней суетился возле огня, поправляя торопливо занявшееся дерево и закидывая то, что осыпалось к ногам, в самый жар.

Огонь был высок, сух, прям.

— Они уж в раю все, — сказал Сивцев про кресты, успокаивая даже не Артёма, а скорее себя. — Мёртвым кресты не нужны, кресты нужны живым, а для живых тут родни нету. Мы безродные теперь.

Когда догорело, десятник скучно осмотрел место бывшего кладбища. Делать было нечего на этой некрасиво разрытой, будто обмелевшей и обомлевшей земле. Разве что надгробные камни унести ещё дальше, побросать в воду или закопать, но такого приказа не поступало.

Артём вдруг болезненно почувствовал, что все мертвецы отныне и навек в земле — голые. Были прикрытые, а теперь — как дети без одеял в стылом доме.

“И что? — спросил себя. — Что с этим делать?”

Тряхнул головой и — забылся, забыл.

В кремль пошли засветло.

Чеченец внешне был привычно хмур, но внутренне чем-то будто бы возбуждён. Уже на подходе, когда сложенные из валунов монастырские стены начали доносить свой особый тяжёлый запах, вдруг твёрдо произнёс:

— Нам сказали б ломать своё кладбище — никто бы не тронул. Умер бы, а не тронул. А вы сломали.

— Врёшь, сука, — сразу скривил взбесившееся лицо побагровевший Лажечников.

— Сука это говорит, — ответил чеченец почти по слогам.

У Лажечникова так натянулась толстая, какая-то костяная жила на шее, что показалось: оборви её — и голова завалится набок. Он сделал шаг в сторону чеченца, заранее растопырив руки и раскрыв пальцы так, словно бы собирался чеченца пощекотать под бока, но конвойный крикнул: “Ну-ка!” — и толкнул Лажечникова в спину.

— В роте доскажем, — посулился чеченцу Лажечников.

Но минуту спустя не стерпел:

— Мы из терских. Когда вас, воров, давили — вы кладбища за собой не утаскивали, оставляли нам своих покойников, чтоб мы потоптали.

— Да, да, — согласился чеченец, и это его “да, да” прозвучало как вскрик какой-то крупной щетинистой птицы. — Вы так можете: сначала чужое кладбище потоптать, потом своё.

Лажечникова снова всего передёрнуло, он резко оглянулся, в напрасной надежде, что конвойный куда-то пропал, но нет, тот шёл, и лицо его было равнодушно.

— Ты, что ль, не слышишь, как тут христиан поносят? — спросил Лажечников в сердцах.

— Это ты у кого спросил про христиан? — коротко посмеялся чеченец, скосившись на конвойного. — Нету больше вашего Бога у вас! Какой это Бог, раз в него такая вера!

— Чеченцы тоже христианами были раньше, давно... — вдруг сказал Артём, очарованный в детстве повестями Бестужева-Марлинского и с разлёта перечитавший тогда всё, что нашёл о Кавказе.

Хасаев посмотрел на Артёма так, как смотрят на неожиданно влезшего в беседу старших ребёнка, и, смолчав, только подвигал челюстью.

Артём мысленно обругал себя: зачем влез, дурак.

“Ой, дурак, — повторял он, пока шли по монастырскому двору. — Ой, дурак, дурак, дурак, весь день дурак...”

Так часто повторял, что даже забыл, по какому поводу себя ругает.

В роте всем им выдали по пирожку с капустой за ударный труд.

— И не знаешь, что с им делать: прожевать или подавиться, — сказал Сивцев, хмурясь на пирожок, как если бы тот был живой; но всё-таки съел и собрал потом с колена крошки.

До ужина оставался ещё час, и Артём успел поспать, заметив, что в роте Лажечников и Хасаев как разошлись, так и не попытались договорить.

Лажечников перебирал своё изношенное тряпье на нарах так внимательно и придиричиво, как, наверное, смотрел у себя на Тереке конскую упряжь или рыболовные снасти, а чеченец негромко перешёптывался со своими; издали казалось, что они разговаривают даже не словами, а знаками, жестами, быстрыми оскалами рта.

* * *

Артёма растолкал Василий Петрович; тут же раздалось и пение Моисея Соломоновича про лесок да соловья — верно, наваял сбор ягод.

— Как я вам завидую, Артём, — такой крепкий сон, — говорил Василий Петрович, и голос у него был уютный, будто выплыл откуда-то из детства. — Даже непонятно, за что могли посадить молодого человека, спящего таким сном праведника в аду. Ужин, Артём, вставайте.

Артём открыл глаза и близко увидел улыбающееся лицо Василия Петровича и ещё ближе — его руку, которой он держался за край нар Артёма.

Поняв, что товарищ окончательно проснулся, Василий Петрович мигнул Артёму и присел к себе.

— Праведники, насколько я успел заметить, спят плохо, — нарочито медленно спускаясь с нар и одновременно потягивая мышцы, ответил Артём.

С аппетитом ужина поганой пшёнкой, Артём размышлял о Василии Петровиче, одновременно слушая его, привычно говорливого.

Сначала Василий Петрович расспросил, что за наряд был на кладбище, покачал головой: “Совсем сбесились, совсем...” Потом рассказал, что нашёл ягодные места и что Моисей Соломонович обманул — зрение на чернику у него отсутствовало напрочь; скорей всего, он вообще был подслеповат. “Ему надо бы по кооперативной части пойти...” — добавил Василий Петрович.

Артём вдруг понял, что казалось ему странным в Василии Петровиче. Да, умное, в чём-то даже сохранившее породу лицо, прищур, посадка головы, всегда чем-то озадаченный, разборчивый взгляд, но вместе с тем он имел сухие, цепкие руки, густо покрытые белым волосом, притом что сам Василий Петрович был едва седой.

Артём неосознанно запомнил эти руки, ещё когда собирали ягоды: пальцы Василия Петровича обладали той странной уверенностью движений, что в некоторых случаях свойственна слепым, когда они наверняка знают, что вокруг.

“Руки словно бы другого человека”, — думал Артём, хлебной корочкой с копейку величиной протирая миску. Хлеб выдавался сразу на неделю, у Артёма ещё было фунта два — он научился его беречь, чтоб хватало хотя бы до вечера субботы.

— Вы знаете, Артём, а когда я только сюда попал, условия были чуть иные, — рассказывал Василий Петрович. — До Эйхманиса здесь заправлял другой начальник лагеря, по фамилии Ногтев, — редкая, даже среди чекистов, рентилия. Каждый этап он встречал сам и лично при входе в монастырь убивал одного человека из револьвера: баме! — и смеялся. Чаще всего священника или каэра выбирал. Чтоб все знали с первых шагов, что *власть тут не советская, а соловецкая* — это была частая его присказка. Эйхманис так не говорит, заметьте, и уж тем более не стреляет по новым этапам. Но что касается пайка — тогда ещё случались удивительные штуки. Когда северный фронт Белой армии бежал, они оставили тут большие запасы: сахар в кубиках, американское сало, какие-то невиданные консервы. Не скажу, что нас этим перекармливали, но иногда на слот кое-что перепало. В тот год тут ещё жили политические — эсдэки, эсеры и прочие анархисты, разошедшиеся с большевиками в деталях, но согласные по сути, — так вот их кормили вообще, как комиссарских детей. И они, кроме всего прочего, вовсе не работали. Зимой катались на коньках, летом качались в шезлонгах и спорили, спорили, спорили... Теперь, верно, рассказывают про своё страшное соловецкое прошлое, а они и Соловков-то не видели, Артём.

В котомке за спиной Василий Петрович принёс грибов, которые, видимо, собрался сушить, а в собственноручно и крепко сшитом мешочке на груди приберёт немного ягод. Присев, некоторое время раскачивал мешочком так, чтоб было заметно из-под нар. Вскоре появились две грязные руки, сложенные ковшиком, — туда и чмокнула смятая ягодная каша. Ногти на руках были выдающиеся.

— А я ведь ни разу не видел его лица, — вдруг сказал Артём, кивнув на руки беспризорника, которые тут же исчезли.

— А пойдёмте на воздух, погуляем по монастырю, — предложил Василий Петрович, помолчав. — Сегодня у них театр — во дворе не таклюдно, как обычно. К тому же у меня есть одно неприятнейшее дельце.

Артём с удовольствием согласился.

Возле мраморной часовенки для водосвятия стояли две старинные пушки на лафетах. Артёму почему-то они часто снились, и это был пугающий, болезненный сон. Более того, Артём был отчего-то уверен, что впервые видел этот сон с пушками ещё до Соловков.

Они дошли до сквера между Святительским и Благовещенским корпусами. Артём был не совсем сыт и не очень выспался, но всё-таки поспал, всё-таки поел горячего, и оттого, по-юношески позёвывая, чувствовал себя почти довольным. Василий Петрович, всегда размышляющий о чём-то неслучайном и нужном, торопился чуть впереди; был он в своей неизменной даже летом кепке английского образца — похоже, стеснялся лысеющей головы.

Стоял пресветлый вечер, воздух был пышен, небо насыщено и старательно раскрашено, но за этими тихими красками будто бы чувствовался купол, некая невидимая твердь.

“В такое небо можно, как в колокол, бить”, — сказал как-то Афанасьев.

С запада клоками подгоняло мрачную тучу, но она была ещё далека.

“Как за бороду в ад, тащат эту тучу”, — подумал Артём, намеренно подражая Афанасьеву, и про себя улыбнулся, что недурно получилось: может, стихи начать писать? Он — да, любил стихи, только никогда и никому об этом не говорил: а зачем?

В сквере стояли или прогуливались несколько православных священников, почти все были в старых латаных и перелатанных рясах, но без наперсных крестов; один — в красноармейском шлеме со споротой звездой: на подобные вещи давно никто не обращал внимания, каждый носил, что было. Василий Петрович кивком обратил внимание Артёма на то, что отдельно на лавочке сидят ксёндзы, сосредоточенные и чуть надменные.

— Как я заметил, вы замечательно скоро вписались в соловецкую жизнь, Артём, — говорил Василий Петрович. — Вас даже клопы как-то не особо заедают, — посмеялся он, но тут же продолжил серьёзно:

— Лишних вопросов не задаёте. Разговариваете мало и по делу. Не грубы и не глупы. Здесь многие в первые же три месяца опускаются: либо ста-

новятся фитилями, либо идут в стукачи, либо попадают в услужение к блатным, и я даже не знаю, что хуже. Вы же, я наблюдаю, ничего особенного не предпринимая, миновали все эти угрозы, будто бы их и не было. Труд вам пока даётся — вы к нему приспособлены, что редкость для человека с умом и соображением. Ничего не принимаете близко к сердцу — и это тоже завидное качество. Вы очень живучи, как я погляжу. Вы задуманы на долгую жизнь. Не будете совершать ошибок — всё у вас сложится.

Артём внимательно посмотрел на Василия Петровича; ему было приятно всё это слышать, но в меру, в меру приятно. Тем более что Артём знал в себе дурацкие, злые, сложно объяснимые замашки, а Василий Петрович — ещё нет.

— Здесь много драк, склок, — продолжал тот, — вы же, как я заметил, со всеми вполне приветливы, а к вам все в должной мере равнодушны.

— Не все, — сказал Артём.

— Ну да, ну да, Крапин. Но, может, это случайность?

Артём пожал плечами, думая про то, как всё странно, если не сказать — диковато: извлечённый из своей жизни, как из утробы, он попал на остров; если тут не край света, то край страны точно; его охраняет конвой; если он поведёт себя как-то не так, его могут убить; и вместе с тем он гуляет в сквере и разговаривает в той тональности, как если бы ему предстояло сейчас вернуться домой, к матери.

— На моей памяти он никому особенно не навредил, — продолжал Василий Петрович про Крапина. — Вот если с ротным у вас пойдёт всё не так — тогда беда, беда! Кучерава — ящер. Впрочем, вас обязательно переведут куда-нибудь в роту полегче, в канцелярию... Будет у вас своя келья — в гости меня тогда позовёте, чаю попить.

— Василий Петрович, — поинтересовался Артём, — а что же вы до сих пор не сделали ничего, чтоб перебраться подальше от общих работ? Это ж, как вы говорите, главный закон для любого сидельца, собирающегося пережить Соловки, — а сами? Вы ж наверняка много чего умеете, кроме ягод.

Василий Петрович быстро посмотрел на Артёма и, убрав руки за спину, ответил:

— Да я здесь как-то прижился уже. Зачем мне другая рота? Моя рота — это лес. Вот вам маленькая наука: всегда старайтесь выбрать работу, куда берут меньше людей. Она проще. Тем более что у меня вторая категория — деревья валить не пошлют. Так что куда мне торопиться, досижу своё так. Я в детстве бывал капризен — здесь отличное место, чтоб смириться.

Звучало не совсем убедительно, но Артём, иронично глянув раз и ещё раз на Василия Петровича, ничего не сказал, благо что тот быстро перевёл разговор на другую тему:

— Обратите внимание, например, на этих собеседников. Знаете, кто это? Замечательные люди! На улицах Москвы и Петрограда вы таких запросто не встретите. Только на Соловках! Слева, значит, Сергей Львович Брусиллов — племянник генерала Брусилова, того самого, что едва не выиграл Вторую Отечественную войну, а потом отказался драться против большевиков. Сергей Львович, если меня не ввели в заблуждение, капитан Балтийского флота — то есть был им. Но и здесь тоже имеет некоторое отношение к местной флотилии, соловецкой. Беседует он с господином Виоляром... Виоляр — ещё более редкая птица: он мексиканский консул в Египте.

— Заблудился по дороге из Америки в Африку и попал на Соловки?

— Примерно так! Причём заблудился, завернув в Тифлис, — улыбнулся Василий Петрович. — У него жена — русская, а точнее, грузинка. Если совсем точно — грузинская княжна, восхитительная красавица, только немного тонковата, на мой вкус...

— Откуда вы знаете? — с неожиданным любопытством поинтересовался Артём.

— Слушайте, Артём! — Василий Петрович мягко поднял свою седую руку, будто бы останавливая собеседника в его поспешности. — Не так давно господин Виоляр решил заехать на родину своей жены, погостить, отведать грузинской кухни и прочее. Вместо этого он был арестован тифлисским ГПУ

и препровождён сюда. Надо бы у нашего ротного поинтересоваться, в чём там дело, но я стараюсь лишний раз с нашим Кучеровой не сталкиваться.

— А жена? — так и не дождавшись объяснений, спросил Артём.

— А жена тоже здесь, — уже шёпотом продолжил Василий Петрович, потому что они приближались к спокойно и с безусловным достоинством внимающему собеседнику Брусилу и активно жестикулирующему Виоляру; беседа шла по-английски. — Но она, естественно, в женбараке.

На минуту, пока проходили мимо этой пары, они замолчали.

— А вот тот, кого я ищу, — обрадовался Василий Петрович. — Владычка обещал нам сметанки с лучком.

Артём успел подумать, какое хорошее слово — “владычка”, — но упоминание сметанки с лучком действовало ещё сильнее, и в одно мгновение он почувствовал, что рот его полон слюной, даже самому смешно стало, как это не по-человечески, будто он собака какая-то.

— Отец Иоанн! — сказал Василий Петрович.

Им навстречу, улыбаясь, шёл высокий человек в рясе, с окладистой расчёсанной рыжеватой бородою, с длинными, чуть выщипавшимися и не очень чистыми волосами. Он был явно не молод, но, пожалуй, ещё красив: тонкая, немного изогнутая линия носа, маленькие уши, чуть впалые щёки, не очень заметные брови, добрый прищур светлых глаз.

Василий Петрович поклонился, отец Иоанн быстрым движением перекрестил его темя и подал худощавую веснушчатую руку для поцелуя.

В этом движении, заметил Артём, который в церковь не ходил по стихийному неверию, напрочь отсутствовал даже намёк на унижение человеческого достоинства, но имелось что-то ровно противоположное, возвышавшее как раз Василия Петровича.

Артём с тёплым удивлением поймал себя на мысли, что тоже хотел бы поцеловать эту руку, и помешала ему даже не гордость, а страх сделать это как-то неправильно. Он остался стоять чуть поодаль, но отец Иоанн поприветствовал и его, ласково кивнув, и в этом жесте не было никакого посыла, который оскорбил бы Артёма; то есть священник не говорил ему: ничего, что ты не подошёл под благословение, я понимаю, как это трудно, да и опасно в наши нелёгкие дни. Нет, священник поприветствовал его так, словно бы ничего вообще не случилось, и он, безусловно, рад встретит Артёма, который наверняка хороший и добрый молодой человек.

— Как вы, отец Иоанн? — спросил Василий Петрович.

— Милостию Божией здоров, — ответил тот очень серьёзно и продолжил, говоря будто бы и не о своём теле, а о чём-то отдельном от него, за чем он забавным образом приставлен наблюдать. — Все члены работают без отказа и без муки. На колене вспухла какая-то зараза, но, Бог даст, сойдёт сама. А то, что на сердце иногда холодок, — так зиму в сердце пережить проще, чем зиму соловейку. Сердце, если ищет, найдёт себе приют в любви распятого за нас, а когда ноги босые и стынет поясница — тут далеко не убежишь...

Отец Иоанн засмеялся, Василий Петрович подхватил смех, и Артём тоже улыбнулся — не столько словам, сколько очарованию, исходящему от каждого слова владычки.

— Но надо помнить, милые, — говоря это, чуть прихрамывающий владычка Иоанн посмотрел на Артёма, пошедшего справа, и тут же на мгновение обратил взор к идущему слева Василию Петровичу, — адовы силы и советская власть — не всегда одно и то же. Мы боремся не против людей, а против зла нематериального и духов его. В жизни при власти Советов не может быть зла, если не требуется отказа от веры. Ты обязан защищать святую Русь — оттого, что Русь никуда не делась: вот она лежит под нами и греется нашей слабой заботой. Лишь бы не забыть нам самое слово: русский, а всё иное — земная суета. Вы можете пойти в колхоз или в коммуны — что ж в том дурного? Главное — не порочьте Христова имени. Есть начальник лагеря, есть начальник страны, а есть начальник жизни — и у каждого своя работа и своя нелёгкая задача. Начальник лагеря может и не знать про начальника жизни, хоть у него сто чекистов и полк охраны в помощниках, информационный отдел, глиномялка и секирка за пазухой,

зато начальник жизни помнит про всех, и про нас с вами тоже. Не ропщите, терпите до конца — безропотным перенесением скорбей мы идём в объятия начальнику жизни, его ласка будет несравненно чище и светлее всех земных благ, таких скороспелых, таких нелепых.

Артём внимал каждому сказанному отцом Иоанном слову: его успокаивала не какая-то вдруг открывшаяся веская правда, а сама словесная вязь.

Единственное, что отвлекло его, — так это прошедший мимо негр: губастый, замечательно чёрный, высокий; он улыбнулся Артёму, показав отличные зубы, причем одного переднего не было.

— Дела и заботы снедают нас, — говорил отец Иоанн, сладко, как от солнца, щурясь. — Тому из заключённых, кто здесь прибился к канцелярскому столу, как к плоту в море, — проще. Тому, кто кривляется на театральных подмостках, — им тоже легче, их кормят за любимое дело. А кому выпали общие работы — куда как тягостней. Наше длинноволосое племя, — тут отец Иоанн потрянул своей чуть развевающейся гривой и тихонько засмеялся, — принято в заведующие и сторожа, оттого что не имеет привычки к воровству. Не всем так пособляет, спору нет! К тому же многие из попавших сюда страдальцев ещё и не берегут своих братьев по несчастью, но, напротив, наносят лишние бремена на таких же слабых и униженных, как они. И мыкается, не затухая, искра Христова то в стукаче, то в фитиле, то в заключённом в карцер. Но какие бы ни были заботы у нас, помните, что ещё до своего рождения он возвещал нам через пророка Исаяю: “На кого вззрю? Только на кроткого и молчаливаго!” Ступайте по жизни твёрдо, но испытывайте непрестанные кротость и благоговение пред Тем, Кто неизбежно подаст всем служившим Ему Свою благодатную помощь!

Артём отвернулся в сторону, пока Василий Петрович угощал владычку Иоанна ягодами, а тот, в свою очередь, передал ему свой свёрток.

Обратно шли едва ли не навеселе, вели спотыкливый разговор и сами спотыкались, полные смешливой, почти мальчишеской радости. Даже привязчивые, проносящиеся над головой крикливые чайки не портили настроения.

Встретили женщину — ещё *вполне ничего*: лет сорока, в шали, в сносных ботинках, в мужских штанах и мужском пиджаке, который она держала запахнутым на груди. Артём разглядывал её, пока не разминулись.

Над главными воротами крепили огромный плакат с надписью: “Мы новый путь земле укажем. Владыкой мира будет труд!”.

— А ведь это наше общение ему наваяло... — сказал Василий Петрович, имея в виду Эйхманиса. — Про монахов, которые спасались в труде! А?

— Думаете? — ответил Артём. — Едва ли...

Навстречу им попался Моисей Соломонович, который поначалу шёл молча, но за несколько шагов до Артёма и Василия Петровича вдруг запел — без слов, словно слова ещё не нашлись, а музыка уже возникла.

Они улыбнулись друг другу и разошлись — не подвевая же.

— Клянусь вам, — прошептал Артём Василию Петровичу, — он чувствует пищу! В присутствии съестного он начинает петь!

— С чего вы взяли? — спросил Василий Петрович, но пакет перехватил покрепче.

Дорожки внутри монастыря были посыпаны песком, повсюду стояли клумбы с розами, присматривать за которыми были определены несколько заключённых. Артём иногда на разные лады представлял себе примерно такой разговор: “На Словецкой каторге был? Чем занимался? — Редкие сорта роз высаживал! — О, проклятое большевистское иго!”

На одной из центральных клумб был выложен слон из белых камней.

СЛОН означал: “Словецкие лагеря особого назначения”.

* * *

Чтоб не возбуждать блатных в роте своим пиршеством, ни с кем не делиться и не потворствовать певческому вдохновению Моисея Соломоновича, Василий Петрович предложил чудесный план ужина: в келье одного своего знакомого из белогвардейцев.

— Бурцев присоединится, у них тоже имеется для нас угощение — устроим пир, — Василий Петрович был взбудоражен и возбуждён, как перед свиданием. — Нет ли сегодня какого-нибудь праздника, Артём? Желательно не большевистского? — спросил он, наклонившись к Артёму, и, отстранившись, обаятельнейшим образом подмигнул ему.

В понимании Артёма Василий Петрович представлял собой почти идеальный тип русского интеллигента, который неизвестно, выживет ли ещё в Советской России: незлобивый, либеральный... с мягким юмором... Единственным ругательным словом у него было непонятное “шморгонцы”... Слегка наивный и чуть склонный к сентиментальности, но притом обладающий врождённым чувством собственного достоинства.

Их ничем особенно не объяснимое товарищество случилось при, ну, не самых обычных обстоятельствах.

Ещё будучи в тринадцатой роте, Артём получил первую посылку от матери.

Он уже не однажды был свидетелем, как блатные отбирают у заключённых принесённые в роту продукты или вещи и, сумрачно раздумывая, как быть, по пути в роту откусывал и глотал огромными кусками присланную из дома конскую колбасу.

Тут и объявился впервые перед Артёмом Василий Петрович: двенадцатая и тринадцатая роты соседствовали, располагаясь в разных помещениях одного и того же храма.

— Вижу ваше сомнение, молодой человек, — представившись, сказал он, то ли смущаясь своей роли, то ли играя это смущение. — Вы ведь из карантинной? Часть вашего этапа блатные раздели ещё по дороге, в трюмах парохода “Глеб Боккий”. Остальных раздевают и обедают уже в роте. Я тоже через всё это прошёл в своё время. У меня есть к вам простое предложение. Доказать честность своих намерений мне сложно, а то и невозможно: целовать крест в наши дни — не самый убедительный поступок, и честное большевистское я вам дать не могу, поскольку не большевик. Но я знаю, как вам уберечь эту посылку. Выслушаете?

Артём подумал и кивнул, прижав к себе чуть покрепче мешок, в который пересыпали материнские гостинцы.

— Если вы передадите посылку в мои руки, я, в свою очередь, спрячу её у своего доброго знакомого — владыки Петра, заведующего каптёркой первого отделения. И он сохранит ваши продукты в целости. Обратившись ко мне, вы сможете забирать оттуда нужное вам частями, каждый вечер, после ужина и до вечерней поверки.

Артём некоторое время разглядывал своего нового знакомца и неожиданно решил ему довериться.

— Что я вам буду за это должен? — только спросил Артём.

— Уж сочтётся как-нибудь, — ответил Василий Петрович смиренно.

Не откладывая, на другой же день Артём после ужина нашёл Василия Петровича. Награды тот не требовал, но Артём, естественно, угостил его воблой. Тем более что в посылку, похоже, никто не проникал: если колбасу Артём догрыз в первый же день, то сухую воблу пересчитал, а мешочки с сахаром и с сухофруктами перевязал своим узлом и точно заметил бы, что теперь завязано иначе.

В тот раз они и разговорились подробно.

Артём, конечно, мог предположить, что Василий Петрович поддерживает с ним отношения в ожидании следующей посылки, но человеческое чувство старательно убеждало его, что дело обстоит иначе: здесь, думал он, имеет место простая человеческая приязнь, потому что отчего ж к Артёму и не относиться хорошо: он и сам к себе неплохо относился...

“Тем более, что всем тут надо жить, — так завершил свои рефлексии по этому поводу Артём. — Разве интеллигент — это тот, кто первым должен подохнуть?”

Потом Артёма перевели из карантинной в двенадцатую, в тот же день по досрочному освобождению ушёл бытовик, спавший выше ярусом над Василием Петровичем, и Артём занял его место.

Очередную посылку он снова припрятал через Василия Петровича, поделившись с ним и в этот раз.

Когда бродили за ягодами, Василий Петрович в минуту роздыха вкратце рассказал Артёму историю о том, как угодил на Соловки.

В 1924 году по старым ещё знакомствам Василий Петрович несколько раз попадал на вечеринки во французское посольство: недавнее полуголодное прошлое военного коммунизма приучило всех наедаться впрок, а французы хоть чуток, а кормили.

“Накрывают красиво, а съесть нечего”, — сетовал Василий Петрович.

Раз ходил, два, а в третий на обратном пути его попросили сесть в машину и увезли в ОГПУ. Определили как французского шпиона, хотя следствие было из рук вон глупое и доказать ничего не могли совершенно.

— Позорище! — горячился Василий Петрович, однако результат был всеким: статья 58-я, часть 6 — шпионаж.

— А у вас что? — спросил тогда Василий Петрович, потирая руки так, словно Артём собирался угостить его, к примеру, варёной картошечкой.

— У чужой бабы простоквашу выпил — заработал кнута и Сибирь, — отмахнулся Артём.

— Артём, мне всё равно, но вы должны знать, что здесь так не принято, — с несколько деланой строгостью, в манере хорошего учителя сказал Василий Петрович. — Если вас спросят, к примеру, блатные, за что угодили на Соловки, — придётся ответить. Потом, разве вы не рассказывали о своей статье на следствии, когда сидели в камере? В камере сложно смолчать — могут подумать, что вы посаженный.

— Глупость, — сказал Артём. — Как раз посаженный научен красиво врать.

— Неужели вы бытовик? — всё не унимался Василий Петрович. — А вид у вас, как у законченного каэра! Не верю, что вы способны украсть!

Артём, усмехаясь, покивал, но так ничего и не ответил. Шёл неоглядой, жил неоглядой, задорный, ветреный. Надолила судьба — живу теперь в непопаде. Главное — никогда не вспоминать про отца, а то стыд съест и душа надорвётся.

— ...Да и общаетесь с каэрами по большей части, — продолжал Василий Петрович, поглядывая на Артёма.

— Я общаюсь с нормальными людьми, — ответил тот, потому что от него ждали хоть какого-нибудь ответа.

— А как нормальный человек относится к большевикам? — неожиданно спросил Василий Петрович.

— У меня младший брат — пионер и очень бережёт свой красный галстук. А мне нет до большевиков никакого дела. Случились и случились. Пусть будут, — выкладывая слово за словом продуманно, то есть в несвоейственной ему манере, ответил Артём.

* * *

Пока Василий Петрович нарезал лучок, Артём осматривал келью.

Он был откровенно удивлён.

Высокие белёные потолки. Дощатые, не так давно крашенные в коричневый цвет полы. Вымытое окно почти в человеческий рост. Всего две лежанки. Одна не застелена — на ней доски. Зато на другой — покрывало с тигром, видна белоснежная простыня, подушка взбита и, кажется, ароматна. Над кроватью — полочка с книгами: несколько английских романов, Расин, некто Леонов с заложенным неподалёку от начала сочинением “Вор”, Достоевский, Мережковский, Блок, которого Артём немедленно схватил и раскрыл с таким чувством, словно там было письмо лично ему.

Прочёл несколько строк — закрыл глаза, проверил, помнит ли, как там дальше, — помнил; бережно поставил томик на место.

Стол был покрыт скатертью, на столе — электрическая лампочка с расписанным акварелью абажуром, в углу — иконка с лампадкой, на гвоздике серебряный крест — Артём коснулся его и чуть качнул.

В нише окна размещались фотография женщины и фарфоровая собачка — белая в чёрных пятнах, с закрученным хвостиком, надломленным на самом кончике.

“А так и в лагере можно жить... — подумал Артём. — Потом ещё будешь вспоминать об этом...”

— Да, Артём, да, так можно жить даже в лагере, — подтвердил Василий Петрович.

Артём никогда бы не поверил, что мог произнести последнюю фразу вслух, — он был молодым человеком, несколько не склонным к склерозу, — однако на мгновение всё же смешался.

— Ну, да, — сказал он, справившись с собою. — Догадаться несложно. А что Бурцев? Где он?

Василий Петрович, не отвечая, по-хозяйски взял плошку из самодельного шкафа, вылил туда сметанку.

Изучив убранство кельи, Артём уселся на крепкую табуретку меж столом и окошком, стараясь не смотреть, как Василий Петрович ножом ссыпал лучок в плошку и начал всё это большой ложкой размешивать, изредка посыпая солью, — о, как хотелось эту ложку облизать!

Артём взял фарфоровую собачку, повертел её в руках и аккуратно провёл пальцем по линии надлома на хвостике, глотая непрестанно набегавшую слюну.

— Ах, Артём, как я любил кормить свою собаку, — Василий Петрович выпрямился и, лирически шмыгнув носом, вытер глаз кулаком. — Я ведь не охотник совсем, я больше... для виду. Ружьишко на плечо — и в лесок. Увижу какую птицу, векину ствол — она испугается, взлетит, а я ругаюсь: “Ах, чёрт! Чёрт поberi, Фет”, — я собаку назвал Фетом, в шутку или из любви к Фету, уж и не знаю, чего тут было больше... У Мезерницкого вроде бы имелся Фет? — Василий Петрович быстро глянул в сторону книжной полки и тут же забыл, зачем смотрел.

Он говорил, как обычно, прыгая с пятого на десятое, но Артём всё понимал — чего там было не понять.

— Ругаюсь на собаку так, — рассказывал Василий Петрович, — как будто всерьёз собирался выстрелить. И Фет мой, по морде видно, тоже вроде как огорчён, спереживает мне. В другой раз я, учёный, ствол уже ме-е-едленно поднимаю. Фет тоже притаится и — весь в ожидании! А я смотрю на эту птицу, и, знаете, никаких сил нет спустить курок. Честно говоря, я и ружьё-то, как правило, не заряжал. Но когда поднимаешь ствол вверх и прицеливаешься — всё равно кажется, что оно заряжено. И так жутко на душе, такой трепет...

Артём поставил собачку на место и взял портрет женщины, не столько разглядывая её сомнительную прелесть — (“...Мать, что ли?” — подумал он мельком), — сколько пытаюсь стеклом уловить последние лучи солнца и пустить “зайчика” по стене.

— И длится это, быть может, минуту, но скорей — меньше, потому что минуту на весу ружьё тяжело удерживать. И Фет, конечно, не вытерпит и ка-а-ак залает. То ли на меня, то ли на птицу — уж не знаю, на кого. Птица опять взлетает... А я смеюсь, и так хорошо на душе. Словно я эту птицу отпустил на волю.

“Пошлятина какая-то...” — подумал Артём без раздражения, время от времени поднимая глаза и с улыбкой кивая Василию Петровичу.

— И вот мы возвращаемся домой, — между тем, рассказывал тот, — голодные, по своей тропинке, чтоб деревенские не видели, что я опять без добычи, хотя они и так знали всегда... И Надя нам уже приготовила ужин: и мне что-нибудь сочинила, и Фету из вчерашних обедков... — здесь Василий Петрович вдруг поперхнулся и несколько секунд молчал. — А я ему тоже в его плошку отолью вчерашних щец, хлебушка покрошу — и даже, к примеру, жареной печёнки не пожалею, а сверху ещё яичко разобью — он, знаете, любил сырые яйца почему-то... И вот вынесу ему эту плошку, он сидит, ждёт... Поставлю перед ним — сидит, смотрит... Он будто бы стеснялся при мне есть. Или какое-то другое чувство испытывал, быть может. Я отойду по-

далее, говорю: “Ешь, милый, ешь!” И он, словно нехотя, словно бы в первый раз начинает обходить эту плошку с разных сторон и обнюхивать её.

Артём снова проглотил слюну: если бы вздумал открыть рот — так и плеснуло бы на скатерть.

“Странно, что это никогда не приходило мне в голову, — быстро даже не подумал, а скорее представил себе Артём. — Наверняка это очень вкусно: борщ, сверху насыпать жареной печёнки, наломать хлеба и умять его ложкой, так, чтобы борщ пропитал этот хлеб... И сверху разбить два или лучше три куриных яйца, чтоб они так неловко разлились по хлебу, кое-где смешавшись с борщом, но сам желток всё равно оставался на поверхности... И с минуту принюхиваться к этому, а потом вдруг броситься есть, глотать кусками эту печёнку с капустой, хлеб с яйцом...”

— Артём, вы слушаете? — окликнул его Василий Петрович.

— К чёрту бы вас, — с трудом ответил Артём. — Давайте есть скорей. Где наши хозяева? Как вы сказали — Мезерницкий?

* * *

Первым пришёл Бурцев. Он кивнул Артёму, как доброму знакомому, хотя, странная вещь, за полтора месяца они не перекинулись и несколькими словами — всё как-то не приходилось.

Но эта обустроенная келья разом сблизжала тех, кто попадал сюда: они чувствовали себя как бы избранными и приобщёнными — к чистой пище, к выметенному и свежевывытому полу, к сияющей подушке, к чистой скатерти и фарфоровой собачке.

Бурцев, — это Артём знал по рассказам Василия Петровича, — после гражданской работал в варьете, потом где-то на административной должности. Обстоятельства своего ареста он не особенно раскрывал.

По большей части он помалкивал; если выпадало время — почитывал что-то незатейливое из монастырской библиотеки, но Артём успел заметить и удивиться, что, если в присутствии Бурцева заходила речь о чём-то любопытном или кто-то рисковал обратиться непосредственно к нему, он несколько раз поддерживал разговоры на самые разные темы: от хореографического искусства Дункан и отличий Арктики от Антарктики до писем Константина Леонтьева к Соловьёву и очевидных преимуществ Брюсова перед Бальмонтом — эту тему, естественно, Афанасьев затеял. В последний раз Бурцев подивил Василия Петровича неожиданными знаниями о ягодах и охоте, сообщив, что там, где растёт морошка, стоит охотиться на белую куропатку, а где брусника — искать глухаря; хотя неподалёку от брусники можно встретить и медведя. Василий Петрович так искренне смеялся вполне серьёзному замечанию про медведя, что Бурцев имел все шансы попасть в ягодную бригаду, но он сам не захотел.

Находившийся рядом Сивцев, заслышав разговор, вдруг вспомнил, как на фронте видал медведя, приученного артиллерийской ротой подавать снаряды, но его по ягоды Василий Петрович не взял; да и Бурцев тему о медведе не продолжил.

Втайне прислушиваясь к неспешной речи Бурцева, Артём уяснил для себя, что морошка созревает наоборот: из красной в янтарно-жёлтую, и мужские цветки у неё дают больше ягод, чем женские, а брусника может пережить иной дуб, потому что живёт триста лет.

Про Брюсова и Бальмонта Артёму было бы ещё любопытнее, чем про ягоды: Бальмонт был единственным поэтом, приятным его матери; однако к Бурцеву он до сих пор так и не решился подойти. Всё это казалось нелепым — поест трески и после, прогуливаясь вдоль нар, вдруг поинтересоваться: вот вы здесь накануне вели речь о символистах...

Притом что, в сущности, Бурцев казался неплохим человеком; и при некоторой своей внешней отчуждённости и хмурости на днях даже подпел Моисею Соломоновичу одну еврейскую песню, так что сам Моисей Соломонович замолчал от удивления.

— Мезерницкий уже идёт, велел накрывать на стол, — сказал Бурцев. — Где тут у него...

Бурцев открыл деревянный крашенный ящик возле окна — Артём сразу ощутил запах съестного.

— У нас сегодня шпик с белым хлебом, — сказал Бурцев просто.

— Вы ведь неплохо знаете друг друга? — спрашивал тем временем Василий Петрович то ли Бурцева, имея в виду Артёма, то ли наоборот: в итоге они оба ещё раз со спокойной симпатией встретились глазами, и в этом кратком взгляде содержалась и молодая тёплая ирония по отношению к суетливому старшему товарищу, и сама собой разумеющаяся договорённость о том, что объяснять Василию Петровичу причины их не очень близкого знакомства незачем, тем более что они никому не известны: так получилось.

— Это Артём, — не уловивший их перегляда, продолжал Василий Петрович. — Добрый, щедрый и сильный молодой человек, ко всему прочему, отличный грузчик, тайный ценитель поэзии и просто умница; вы сойдётесь!

Артём, всё время представления смотревший в стол, скептически пожевал пустым ртом, но на Василия Петровича всё это мало действовало.

— Наши Соловки — странное место! — говорил он. — Это самая странная тюрьма в мире! Более того: мы вот думаем, что мир огромен и удивителен, полон тайн и очарования, ужаса и прелести, но у нас есть некоторые резоны предположить, что вот сегодня, в эти дни, Соловки являются самым необычным местом, известным человечеству. Ничего не поддаётся объяснению! Вы, Артём, знаете, что зимой на лесоповале здесь однажды оставили за невыполнение урока тридцать человек в лесу — и все они замёрзли? Что трёх беспризорников, убивших и сожравших одну соловецкую чайку, с ведома Эйхманиса поставили “на комарика”, привязав голыми к деревьям? Беспризорников, конечно, вскоре отвязали, они выжили, но у них на всю жизнь остались чёрные пятна от укусов. О, наш начальник лагеря очень любит флору и фауну. Знаете, что здесь организована биостанция, которая изучает глубины Белого моря? Что по решению Эйхманиса лагерники успешно разводят ньюфаундлендскую ондатру, песцов, шиншилловых кроликов, чёрно-бурых лисиц, красных лисиц и лисиц серебристых, канадских? Что здесь есть своя метеорологическая станция? В лагере, Артём! На которой тоже работают заключённые!

Артём пожал плечами — он был не слишком удивлён, ему было почти всё равно: комарики, лисицы, метеостанция... Вот сметанка с лучком!

— Хорошо, а вы знаете, — сказал Василий Петрович, — что в бывшей Петроградской гостинице, которая за Управлением, на первом этаже живут соловецкие монахи из числа вольнонаёмных, а на втором — чекисты. И — дружат! Ходят друг другу в гости!

— Так белые люди приплывали в новую землю и поначалу ходили в гости к аборигенам, а потом, если те не изъявляли желания креститься и делиться золотом, жгли их селения и травили собаками... которых, надо сказать, индейцы никогда не видели — представьте ужас этих дикарей! — сказал Бурцев, вовсе без злобы и с явным удовольствием нарезая шпик тончайшими лепестками; на последних словах он поднял голову и улыбнулся кому-то, тихо вошедшему в келью и ставшему за спиной Артёма.

Это и был Мезерницкий. Он быстро кивнул Артёму, давая понять: сидите, сидите, — и тут же, похотавывая, подхватил разговор:

— Разница только в том, что те не хотели начинать креститься, а наши монахи — не хотят прекращать.

— Господин Мезерницкий, разве это повод для шуток?! — всплеснул руками Василий Петрович.

— Товарищ Мезерницкий, — поправил тот. — Музыкант духового оркестра Мезерницкий, имею честь! — и, без перехода, повёл речь дальше:

— Хорошо, вот вам другой пример! Василий Петрович наверняка завёл тему о парадоксах Соловков... Не кажется ли вам забавным, что в стране победившего большевизма в первом же организованном государством концлагере половину административных должностей занимают главные враги коммунистов — белогвардейские офицеры? А епископы и архиепископы, сплошь

и рядом подозреваемые в антисоветской деятельности, сторожат большевистское и лагерное имущество! И даже я, поручик Мезерницкий, играю для них на трубе — просто по той причине, что сами они этому не обучены, но готовы исключительно за это умение освободить меня от общих работ. Знаете, что я вам скажу? Я скажу, что борьба против советской власти бессмысленна. Они сами не могут ничего! Постепенно, шаг за шагом, мы заменим их везде и всюду — от театральных подмостков до Кремля.

Бурцев со значением посмотрел на дверь, а Мезерницкий только махнул рукой:

— Ерунда! Не далее как вчера я это говорил Эйхманису лично.

— Говорил или не говорил — дело твоё, суть в том, что всё это легкомысленно, — ответил Бурцев без раздражения и даже с улыбкой. — Ты тут уже три года, друг мой, и оторвался от реальности. Тебе видней, что там с духовыми, а с хозяйством они понемногу учатся справляться...

— Не знаю, не знаю, — прервал Мезерницкий, которому куда больше нравилось говорить самому. — Обратите внимание, милые гости: на общих работах из числа офицеров работает только Бурцев, и то в силу его, простите, мон шер, нелепого упрямства, а остальные... — тут Мезерницкий начал загибать пальцы, вспоминая, — инспектор части снабжения, лагстароста, инженер-телефонист, агроном, два начальника производства и два начальника мастерских!.. Не всё, не всё!.. На железной дороге — наши! На электростанции — наши! В типографии — наши! На радиоузле — наши! Топографией занимаются наши! И даже в пушхозе — наши!

— И непонятно, как мы при таких талантах проиграли большевикам войну, — негромко, ни к кому не обращаясь, заметил Бурцев.

— Притом что, — вновь не обращая ни на кого внимания, говорил Мезерницкий, — учтите, с двадцатого года я абсолютно аполитичен. Командование Белой армии своей глупостью и подлостью примирило меня с большевиками раз и навсегда. Но зачем же отрицать реальность! Соловки — это отражение России, где всё, как под увеличительным стеклом: натурально, неприятно, наглядно!

Бурцев вместо ответа, как бы в задумчивости, покусал губы. Он закончил нарезать хлеб и осмотрел стол так, словно это была карта успешно начинающихся батальных действий.

Артём быстро, изучающе оглядывал Бурцева и Мезерницкого.

Бурцев был невысок, кривоног, с чуть вьющимися тёмно-русскими волосами, черноглаз, тонкогуб... Пальцы имел тонкие и запястья тоже, что казалось странным для человека, задействованного на общих работах, хоть и не очень давно: насколько Артём помнил, Бурцев появился на Соловках на месяц раньше него, с первым весенним этапом.

Мезерницкий, напротив, был высок, сутуловат, волосы имел прямые и чуть сальные, часто шмыгал носом, как человек, пристрастившийся к кокаину, в чём на Соловках его подозревать было невозможно. Он разнообразно жестикнул; Артём отметил его давно не стриженные ногти.

Когда Мезерницкий ногтем с чёрной каёмкой придерживал белый, разнежившийся в тепле лепесток шпика, это было особенно заметно.

* * *

Спор быстро закончился: сметана с луком, белый хлеб и шпик примирили всех.

Самое сложное было есть медленно — Артём обратил внимание, что не ему одному.

Потом Василий Петрович и Бурцев затеялись в шашки: первый — заметно возбуждаясь партией, второй — почти равнодушный к расстановке сил на клетках. Мезерницкий недурно играл на мандолине, Артём тихо блаженствовал, полулёжа на голой лежанке, иногда думая: "...Какие хорошие люди, как я хочу быть им полезен..." — иногда будто задрёмывая и просыпаясь от того, что на лицо садилась одна и та же настырная муха.

С пиджака на доску выпал клоп: Артём поспешил его убить.

...Распрощавшись с Мезерницким, во дворе столкнулись с идущим из театра возбуждённым и раскрасневшимся народом. Кто-то, как водится, ещё обещал представление, кто-то уже думал о завтрашней работе и спешил отоспаться, но вообще ощущение было, как всегда, диковатое: заключённые идут вперемешку с начальством лагеря и вольнонаёмными, женщины накрашены, иные одеты по моде, кое-кто из мужчин тоже не в рванье.

Завидев театральную публику, Василий Петрович тут же, едва попрощавшись, ушёл в роту, Бурцев, быстро покурив, тоже кивнул Артёму — будто бы и не было их молчаливого взаимопонимания в келье.

Зато появился Афанасьев, выспавшийся после своего дневальства и с виду очень довольный.

Он был рыжий, встрёпанный, чуть губастый, ему вообще шло хорошее настроение.

— Из театра? — заинтересованно спросил Артём; всё-таки, кажется, ему удалось минут пятнадцать поспать под мандолину, и он вновь испытывал, конечно, не бодрость, но некоторое оживление.

Афанасьев мотнул головой.

— Что давали? — спросил Артём.

— Да ну, — весело отмахнулся Афанасьев, — Луначарского. Хотя всё это, Артём, впечатляет даже с Луначарским. Какая там каэрочка играет, а? Плакать хочется.

Афанасьев что-то ещё говорил про спектакль, сумбурное, словно хотел объяснить замысел режиссёра, а в уме всё равно представлял исключительно каэрочку.

Они прогуливались взад-назад по быстро пустеющему вечернему дворику, Артём кивал, кивал, кивал и не заметил даже, как Афанасьев перекинулся на другую тему, самую главную для него.

— Тёма, ты только подумай, каких стихов я напишу, вернувшись! Я в стихи загоню слова, которых там не было никогда! Фитиль! Шкеры! Шмары! Поэма “Мастырка”, представь? У нас ведь ни один поэт толком не сидел!

— Декабристы сидели, — вспомнил Артём.

— Да какие там поэты! — снова отмахнулся Афанасьев.

— Маяковский вроде сидел, — ещё вспомнил Артём.

— Да какой там, — снова не согласился Афанасьев. — Не то всё, не то! Соловки — это, Тёма, особый случай! Это как “Одиссея” — когда он в гостях у Полифема...

— Ну, да, Полифем, шкеры, шмары — это будет... салат! — усмехнулся Артём, вспомнив про сметану с лучком.

— Да что ты понимаешь! — вроде бы даже чуть озлился Афанасьев. — Будущее поэзии — за корявыми словами, случайными. Ломоносов писал про три штиля — высокий, средний и низкий, — так надо ещё ниже зачерпнуть, из навоза, из выгребной ямы, и замешать со штилем высоким — толк будет, поверь!

— По мне, таким образом только басню можно сочинить: “Полифем и фитиль”, — нарочно подзуживал Афанасьева Артём.

— Какой у вас разговор любопытный, о мифологии, — сказал кто-то рядом негромко.

Оба разом обернулись и увидели Эйхманиса. Застыли, как пробитые двумя гвоздями насквозь.

— Добрый вечер! — сказал Эйхманис спокойно.

— Здра! — выкрикнул Афанасьев, как всегда кричали на поверке; что до Артёма, он лихорадочно, путаясь в мыслях, как в загоревшейся одежде, пытался вспомнить: успели они за последнюю минуту произнести какую-нибудь контрреволюционную глупость или нет.

— Здра, гражданин начальник! — выкрикнул и Артём. Так было положено отзываться на приветствие начальника лагеря.

На замечание Эйхманиса по поводу мифологии никто не рискнул ответить.

Эйхманис кивнул головой, в смысле: “Вольно”. По всей видимости, он направлялся к воротам — как всегда, без охраны, только всё с тою же своей спутницей, которая сейчас, как и в прошлую встречу, в лесу, смотрела мимо.

Вблизи оказалось, что Эйхманис выше среднего роста — и выше Артёма с Афанасьевым, — что он строен, сухощав и от него пахнет одеколоном. Он был в хорошей гражданской одежде: коричневый пиджак, брюки, высокие остроносые ботинки.

У ворот, заметил Артём, ждал красноармеец, держа двух лошадей в поводу.

Жил Эйхманис в четырёх верстах от монастыря, неподалёку от Савватиевского скита, в Макариевской пустыни. Говорили, что он выстроил себе там огромный приполярный дом, что характерно — в нарочитом отдалении от своих подчинённых-чекистов. На поверках Эйхманис появлялся редко, а занимался, рассказывали, куда чаще охотой, биосадом, питомником лиственниц и хвойных, которые в этом году начали высаживать по всему острову...

Артём осторожно, исподлобья разглядывал его лицо. Правильные, крупные, но чем-то редкого типа и даже несколько изысканные черты лица, зачёсанные назад волосы, белые, достаточно крупные зубы, улыбающиеся, но одновременно будто и недвижимые глаза... Пожалуй, он был красив, напоминал какого-то известного поэта десятых годов и мог бы располагать к себе. Только в линии скул — слишком скользкой, делающей лицо более худым, чем оно было на самом деле, — было что-то неприятное и болезненное.

На спутницу Эйхманиса Артём так и не рискнул взглянуть, хоть и хотелось.

— Вы так и трудитесь в двенадцатой роте, Афанасьев? — спросил Эйхманис, улыбаясь.

— Да! — тряхнул рыжей головой Афанасьев и добавил для верности:

— Именно!

Эйхманис снова, теперь уже прощаясь, кивнул, и пара пошла к воротам.

— Чёрт! — тихо засмеялся Афанасьев, когда услышали постукивание копыт. — А я заладил: Полифем, Полифем... Ничего мы такого не успели сказать? Нет ведь?

Артём тоже, с непонятным чувством, улыбался.

Не дождавшись ответа, Афанасьев сказал:

— Говорят, он знает всех заключённых по именам!

— Да быть не может, — ответил Артём, поразмыслив. — Сколько тут тысяч? Пятнадцать рот!.. Нет, невозможно.

— Ну, хорошо, хорошо, — быстро согласился Афанасьев, но тут же отчасти раздумал:

— Половину — наверняка! Начальников производства, командиров рот, взводных, десятников, актёров, музыкантов, священников знает... Все это говорят! Меня вот тоже откуда-то помнит.

— Итожим: он знает нужный ему народ, — предположил Артём с несколько напускной серьёзностью.

— Думаешь? — обрадовался Афанасьев, не услышав иронии, хотя до этого момента различал любые интонации. — Может, меня вытащат из двенадцатой роты, наконец. Куда угодно! Жаль только, я руками делать ничего не умею. Что же, чёрт меня дернул, я писал стихи! Нет, был бы топографом! Или столяром... Или умел бы играть на барабане. Или, в конце концов, готовить что-нибудь вкусное. Ты знаешь, что тут в лазарете работает бывший повар Льва Троцкого? Что тут есть и свой придворный живописец — по фамилии Браз? Он бывший профессор Императорской академии художеств!

— Так попросись придворным поэтом к Эйхманису, — предложил Артём. — Будешь ему оды сочинять на каждое утро. “Ода на посещение Эйхманисом питомника шиншилловых кроликов”!

— Издеваться только тебе, — отмахнулся Афанасьев.

— Зачем же он тогда спрашивал, в какой ты роте? Тут два объяснения могут быть: либо зовёт тебя в придворные поэты, либо хочет на Секирку переехать. Тебе как больше нравится?

Секиркой звали штрафной изолятор на Секировой горе, располагавшийся в бывшей церкви, верстах в восьми от кремля. Рассказывали про тот изолятор невесёлое: там убивали людей.

Афанасьев выглядел очень обнадёженным и молчал, наверное, только оттого, что боялся спугнуть непонятную пока удачу.

— А кто это с ним? — спросил Артём негромко, не поясняя и не кивая головой в сторону уехавших: и так всё было ясно.

— Это Галя, б... Эйхманиса, вольнонаёмная, работает в ИСО — Информационно-следовательском отделе, — ответил Афанасьев тихой скороговоркой безо всяких эмоций. — Тебя ещё не вызывала?

У Артёма от произнесённого Афанасьевым слова стало трепетно и тоскливо на душе: он даже чуть-чуть задохнулся. Женщины у него не было уже четыре месяца.

* * *

Если б поднимали не в пять, а хотя бы в шесть, — жизнь была бы куда проще. Но проверки неизменно оказывались длинными, с нарядами тоже случалась путаница, поэтому на работу всё равно попадали поздно, иной раз к девяти; а если идти далеко, вёрст за несколько, то ещё позже.

Первым делом Артём вспомнил, как вчера его хвалил Василий Петрович; ну, да, арестантская жизнь его вошла в колено: самое важное — не считать дни, а он перестал их считать на третьи сутки, приняв всё, как есть. Оставалось малое — дотерпеть, дожить; впрочем, он пока не видел никаких причин, чтобы умереть, — жили и здесь. Жили слабые, вздорные, глупые, вообще не приспособленные к жизни — даже они.

Потом Артём вспомнил про Крапина, и крепкий настрой немного расшатался.

Всё утро старался он не попадаться ему на глаза — получилось.

Василий Петрович купил себе ложку: тут же похвалился.

Афанасьев ходил задумчивый: его сняли с должности дневального, хотя вроде только что назначили. Это была хорошая должность, тёплая, особенно зимой. За место дневального держались всеми когтями.

Вместо Афанасьева дневальник стал чеченец Хасаев; третий их соплеменник, самый молодой, тоже постоянно крутился в роте. Казак Лажечников теперь мимо дневальных стремился пройти поскорей, глядя в пол, а воду из бака возле поста перестал пить вовсе.

На проверке ротный Кучерава ругался так бестолково, нудно и мерзостно, что Артём почувствовал лёгкую тошноту.

Наряд ему выпал на баланы; Артём не удивился — к этому всё и шло.

“Баланы так баланы, посмотрим, что такое там...” — подбодрил себя Артём, довольный уже тем, что Крапин не обмерил его ещё раз дрыном. Вместо него взводный выбивал дух из какого-то блатного, не спешившего выйти на работу, поскольку был в кальсонах: других штанов не имелось.

— Лес ворочать? — смуро спросил Артёма Афанасьев. — И я тоже.

Помимо них тот же наряд выпал Моисею Соломоновичу, Лажечникову, Сивцеву, китайцу, битому Крапиным блатному, ещё двоим той же масти и какому-то малоприметному низкорослому мужичку, про которого Артём помнил только, что он непрестанно бормочет, вроде как уговаривая самого себя.

Стояли во дворе, ждали десятника. С утра вечно не поймёшь, где лучше быть: в роте все орут и матерятся, а на улице эти неумные, оголодавшие за ночь чайки. У Артёма однажды, едва он заехал на Соловки, так же вот с утра чайка выхватила припасённый на потом хлеб. Заметившие это блатные посмеялись — было обидно. Артём почти всерьёз поклялся себе перед отбытием на материк оторвать крыло у одной чайки, чтоб сразу не сдохла и чтоб поняла, тварь, как это бывает, когда больно.

Вообще чаек стоило опасаться — они по-настоящему могли напасть и клонуть, скажем, в глаз так, чтоб глаза не стало. Хлеб Артём ещё в роте

спрятал, причём не в штаны, а в бельё — там тоже был удобный кармашек. Угощать он этим хлебом никого не собирался, а собой не брезговал.

— Почему не дневаешься больше? — всё-таки спросил он Афанасьева, — Только вроде заступил. Не самая трудная должность. Стихи можно было бы сочинять — время есть.

Артём посмотрел на Афанасьева и понял, что тому не очень хочется шутить на эту тему.

— Это в ИСО решается, — ответил Афанасьев нехотя. — С Галей не сошёлся характерами.

Стоявший рядом Василий Петрович как-то странно взглянул на Афанасьева и отвернулся.

— А за чеченцев Кучерава попросил, — добавил Афанасьев спустя минуту. — Они ж там все соседи по горам.

Артём кивнул и, так как Афанасьев был не в духе, прошёл к Василию Петровичу, который опять получил бесконвойный наряд по ягоды и ожидал своей бригады.

— Только не выражайте мне соболезнования, Василий Петрович, — за несколько шагов, улыбувшись во все щёки, попросил Артём.

— Улыбайтесь, улыбайтесь, — сказал Василий Петрович печально и, лёгким движением прихватив Артёма за локоть, немного развернул его в сторону; Артём, молодо ухмыляясь, подчинился.

— Вы, я смотрю, дружны с Афанасьевым, — внятно и негромко произнёс Василий Петрович. — Я вам хочу сказать, что на должность дневальных назначают строго стукачей, так что...

— Его ж как раз сняли с должности, — ответил Артём чуть громче, чем следовало бы, и Василий Петрович тут же своими очень уверенными и неестественно крепкими пальцами за локоток повернул Артёма ещё дальше, в сторону колонны священников, отправлявшихся строем на свою сторожевую работу.

Священники шли кто поспешливо, кто, напротив, старался степенно, но строй спутывал всех. Над ними кружились, иногда резко снижаясь, чайки... И эти бороды, и эти рясы, и эти чайки, иногда окропляющие белым помётом одежды священников, — всё вдруг будто остановилось в глазах Артёма, и он понял, что запомнит увиденное на целую жизнь, хотя ничего его не поразило, не оскорбило, не тронуло. Просто почувствовал, что запомнит.

— Шестая рота — не что-нибудь, — сказал кто-то громко и насмешливо. — Шестая рота — ангельская! Раз, два — и на небесах. За что страдают? Ни словом, ни делом, ни помышлением... Безвинно, во имя Твое, Господи.

— Смотрите, — говорил Василий Петрович очень спокойно. — Это Евгений Зернов, епископ Приамурский и Благовещенский. Это Прокопий, архиепископ Херсонский... Иувеналий, архиепископ Курский... Пахомий, архиепископ Черниговский... Григорий, епископ Печерский... Амвросий, епископ Подольский и Брацлавский... Киприан, епископ Семипалатинский... Софроний, епископ Якутский, сменил одни холода на другую непогоду... Вот и наш владычка, батюшка Иоанн...

Василий Петрович в приветствии чуть склонил голову, прихрамывающий и оттого торопящийся больше других владычка Иоанн весело помахал рукой, и что-то то ли очень детское, то ли старозаветно взрослое было в этом жесте. Будто бы ребёнок говорил: “Я не отчаиваюсь”, — а древний человек вторил: “И вы не отчаивайтесь”, — и всё в одном взмахе.

— Вы откуда его так хорошо знаете? — спросил Артём.

— Отчего хорошо? — ответил Василий Петрович. — Просто нас доставляли сюда вместе, в одном трюме. Все были злы и подавлены, а он улыбался, шутил. Его даже блатные не трогали. Возле него как-то остро чувствуется, что все мы — дети. И это, Артём, такое тёплое, такое нужное порой чувство. Вы, наверное, ещё не понимаете...

Артём осмотрелся по сторонам и поинтересовался:

— А вот там, в сквере, он про советскую власть говорил... Как вы думаете, правда?

Василий Петрович пожал плечами и быстрым движением убрал руки за спину.

— Всё правда. Правда, к примеру, то, что вы можете оказаться стукачом — он вас первый раз в жизни видел.

Артём невесело посмеялся, отметив для себя, что таким строгим Василия Петровича ещё не видел, и перевёл тему:

— Тут мне сказали, что Эйхманис помнит едва ли не весь лагерь по именам...

— Очень может быть, — ответил Василий Петрович задумчиво.

— А вы... всех этих священников... когда запомнили, зачем?

— Эйхманису их сторожить, а мне с ними жить, — бесстрастно сказал Василий Петрович, глядя прямо перед собой. — Я эти лица запомню и, если вернусь, расставлю дома, как иконки.

Артём ничего не ответил, но подумал по-мальчишески: а чем они святее, чем я? Я тоже жру суп с вяленой воблой или с безглазыми головами солёной рыбы и вместо мяса — палую конину; зато они сторожат, а я пойду сейчас брёвна таскать.

Василий Петрович тряхнул головой и, чтоб чуть снизить патетику, заговорил совсем другим тоном, куда доверительней, разом становясь тем человеком, который так нравился Артёму:

— Я тут подумал... Отсюда, из Соловков, святость ушла ещё в пору Алексея Михайловича... Наверняка, вы, Артём, знаете эту историю, когда в 1666 году монастырь восстал против Никоновой реформы? А спустя десять лет осады его взяли, и бунтовавших монахов, и трудников — всех закидали камнями, чтоб сабли не грязнить и порох не переводить. Как произошло это — так и не случилось на Соловках больше ни монашеских подвигов, ни святых. Двести с лишним лет монастырь качался на волнах — немалый срок. Как будто готовился к чему-то. И вот, не поверите, Артём, мне кажется, пришли времена нового подвижничества. Русская церковь именно отсюда начнёт новое возрождение... Вы, наверное, ребёнком ещё были, не помните, что за тяжкий воздух был до прихода большевиков.

“Как у нас в бараке?” — хотел спросить Артём, но не стал, конечно.

— Интеллигент возненавидел попа, — перечислял Василий Петрович. — Русский мужик возненавидел попа. Русский поэт — и тот возненавидел попа! Мне стыдно признаться: но и я, Артём, попа возненавидел... И не поймёшь сразу, за что! За то, что русский поп беспробудно пил? Так чего ж ему было делать? Ненавидят ведь не из-за чужой дурноты, а из-за своей пустоты куда чаще... Вы на Второй Отечественной не были, а я был и свидетельствую: когда солдатам предлагали исповедоваться перед боем — девять из десяти отказывались. Я увидел это сам и тогда уже — сам себе удивляясь! — понял: войну проиграем, а революции не избежать: народ остался без веры. Только этим и могло всё закончиться!.. Закончиться — и тут же начаться. Здесь.

— В тринадцатой роте, — вдруг вспомнил и не смолчал Артём, — параша стояла в алтаре. Помните? В моей партии был один священник — так он ни разу туда не сходил. Ночью поднимался и шёл на улицу, в общий сортир. Пока ходил, его место на нарах занимали. Утром встаём — он сидя спит где-нибудь в уголке, чуть не замёрзший.

— И что вы думаете? — спросил Василий Петрович.

Артёму явственно захотелось позлить своего товарища — это было твёрдое и малообъяснимое чувство.

— Я думаю: дурак, — ответил Артём.

У Василия Петровича дрогнула челюсть — будто бы Артём у него на глазах толкнул больного; он отвернулся.

Его уже ждала собравшаяся партия с корзинами; появился и десятник Артёма, сразу заорал, как будто ему кипятком плеснули на живот.

— Да иду, — сказал Артём скорей себе, чем десятнику, иначе можно было и в зубы получить.

Десятник был такой же лагерник, сидевший то ли за три, то ли за пять убийств, родом московский. Фамилия его была Сорокин. Он будто бы исто-

чал потаённую человеческую мерзость, кажется, она выходила из него вместе с потом: какая бы ни была вонь в бараке, Артём, едва приближался к Сорокину, чувствовал его дух. Под мышками у Сорокина всегда были тёмные, уже солью затвердевшие круги, влажные руки его мелко дрожали, щетина на лице тоже была влажная и вид имела такой, словно это не волосы, а грязь, вроде той, что остаётся на полу сеновала — колкая, пыльно-травяная осечь.

Сорокин, как говорили, был любитель придумчиво забавляться над лагерниками, хотя, стоит сказать, каэров он не бил. Их по негласному завету лагерной администрации вообще не было принято трогать, так что желающие позверовать отыгрывались на бытовиках.

Шли на работу лесом, нагнали партию Василия Петровича, тот, оглянувшись, встретился глазами с Артёмом и тут же отвернулся, болезненно, как от резкого колика, сморщившись.

Артём хотел было про себя пожалеть, что отказался идти по ягоды, но мысли эти прогнал. Про то, что зачем-то надерзил Василию Петровичу, он не думал. Характер у него был не зловредный, но эту черту — вдруг ткнуть в открытое место — он за собой знал. И никак об том не печалился.

“Быть может, я не люблю, когда открывают то, что болит...” — подумал Артём, чуть улыбаясь.

“...Про веру рассказывает, — подумал ещё, — а сам Моисея Соломоновича убрал из своей бригады... Нет бы пожалеть...” Сорокин всю дорогу орал и матерился непонятно на кого и по какому поводу, как будто с утра поймал бациллу от Кучеравы. Даже конвойные на него косились.

Артём вдруг представил, как берёт большой сук, побольше, чем дрын Сорокина, и резко, с оттягом бьёт десятника по затылку. Это было бы счастье!..

И сразу б такая тишина настала...

Пошли бы ягоды собирать, песню бы спели, костёр развели...

А то даже Моисей Соломонович не поёт.

Артём переглянулся с Афанасьевым; тот, показалось, мечтал о том же самом.

Лесом вышли к каналу, который, как сказал Лажечников, соединяет Данилово озеро с Перт-озером. По каналу сплавляли с лесозаготовок брёвна, именуемые баланами. Артём разглядывал их с берега тем взглядом, каким, наверное, смотрел бы на некую обильную речную хищную сволочь, которую предстояло вытащить за жабры на берег.

— Есть два золотых дня — вчера и завтра, — приговаривал мелкий, метра в полтора мужичок, стоявший возле Артёма. — Вчера уже прошло, Господь позаботился о том. Завтра я вверяю Ему, Он позаботится и о нём. И остаётся один день — сегодня. Когда я молитвенно свершаю свой труд.

— Этот? — спросил Артём, кивнув на плавающие баланы.

Мужичок посмотрел на Артёма, на баланы и ничего не ответил.

— Баланы нужно доставить на лесопильный завод, — огласил задачу для всех собравшихся десятник. — Общий урок на день: сто баланов... О чём смотрим?

— Э, а багры там, верёвки? — спросил блатной, которому с утра уже досталось от Крапина.

— Верёвка тебе будет, когда тебя повесят! — заорал десятник.

— Ну, багры тогда, — не унимался блатной и, конечно, своего дождался: Сорокин набежал на него, уже издали потрясая дрынком; блатной защищался и даже отмахивался исхудавшими грязными руками, а потому получил и по рукам, и по бокам, и по башке. Только вскрикивал: “Начальник! Начальник! Чо творишь-то?”

На щеке блатного свисла клоком кожа, рука тоже сильно кровянила. “Раздевайся, в воду пулей! Дрын тебе в глотку, чтоб голова не шаталась!” — орал десятник. Блатной скинул свои драные порты — под портами он был голый, — десятник сам потянул битого за рубаху к воде, и рубаха так и разорвалась надвое.

Чтоб с ними не проделали то же самое, остальные поспешно начали раздеваться сами.

— Куда, б...! — заорал десятник, отстав, наконец, от блатного, кото-

рый поскорей забежал в воду по пояс и стоял там, оттирая кровь. — Разделись, б..., как в кордебалете! Самые молодые — в воду, остальные принимают баланы на берегу! Тупые м...алаи, мать вашу за передок!

“Про кордебалет знает, смотри ж ты”, — думал Артём, снимая штаны.

— Сука, холодная, — сказал один из блатных, заходя в воду.

“Да ничего, в самый раз, — подумал Артём. — Ночью дожди идут, чуть подостыла... Зато когда в воде — комаров меньше...”

— Нате, кровососы, даже кусать не надо, так слизывайте, — вытянул битый блатной кровоточащую руку комарью и силно засмеялся; по его виду казалось, что он не очень переживает о зуботычинах десятника.

Никто не хотел оставаться на берегу рядом с десятником: один за другим полезли Сивцев, Афанасьев, Моисей Соломонович. Мелкий мужичок прошёлся туда и сюда вдоль берега, всё повторяя: “Была бы спина — найдётся и вина!” — а потом тоже шагнул в воду.

Моисей Соломонович был ростом выше всех на голову; он шёл и шёл по воде, и ему всё было мелко; а маленький мужичок, едва ступил, сразу как-то потерялся до подбородка и только вздыхал теперь: “Боже ты мой! Спаси, Господи!” Сделал ещё шагок — и едва не пропал вовсе.

— Куда ты полез, клоп! — заорал десятник на него. — Ну-ка, на берег! Ты что там, клоп, верхом на баланах будешь плавать? И ты, длинный, сюда, — указал он на Моисея Соломоновича. — У тебя руки как раз, чтоб принимать брёвна, вместо багра будешь.

У Сивцева было ещё крепкое тело, на спине виднелся весьма красноречивый шрам, кажется, от пашки. У Лажечникова такой же шрам шёл по груди — от плеча и почти до соска.

Тела блатных были в наколках.

“Во, собрались какие все...” — подумал Артём неопределённо, косясь на своё чистое тело, даже без волос на груди.

Афанасьев, впрочем, тоже оказался без особых примет, только в мелких родинках.

Артём добрёл, бережливо ступая по дну, до первого балана — как раз оказалось по грудь — и двумя руками потянул дерево на себя, отдуваясь от комаров.

Тихо матерясь, явился к нему на помощь битый блатной.

— Ксива, — представился он.

На лице у Ксивы было несколько прыщей и ещё два — на шее. Нижняя губа отвисала — невольно хотелось взять её двумя пальцами и натянуть Ксиве на нос.

Блатной протянул руку и, одновременно с тем, как Артём пожал её, сказал глумливо:

— Держи пять, ГПУ даст десять.

Артём глубоко вдохнул носом и ничего не ответил.

— Ладно, не ссы в штаны, ссы в воду, — не унимался блатной и всё поглядывал на Артёма.

— Ты будешь тут свои поговорки говорить, или, может, давай поработаем? — сказал Артём, потому что уже надо было что-то сказать.

— Баба тебе будет давать, а ты в ней хер полоскать, — сказал блатной и снова засмеялся, издевательски глядя на Артёма. — Так что давай без давай. Десятника хватает.

— Слушай, — наклонился к нему Артём, стараясь говорить в меру миролюбиво. — У тебя есть напарники, — тут Артём кивнул на других блатных, с едким интересом прислушивающихся к их разговору, — ты с ними будь, а я буду со своим дружкой. Годится?

Афанасьев стоял тут же, несколько нарочито рассеянный и как бы не вникающий в чужой разговор.

Ксива толкнул балан так, чтоб он угодил бочиной в грудь Артёму, и только после этого сделал шаг назад. Напоследок ещё, ударив ладонью вскользь по воде, слегка обрызгал Артёма.

Тот не ответил: плескаться в ответ показалось глупым, и ударить сразу за это в лоб — тоже вроде не большого ума поступок. Стёр рукой брызги с лица, и всё.

“А в воде попроще... — раздумывал Артём, отвлекая себя от противных мыслей о блатном, этот самом, как его, Ксиве, — работа получше, чем на берегу. Потому что одно дело — по воде толкать баланы к берегу, а другое дело — тащить их на себе посуху”.

Но Артём не угадал, конечно.

Баланы нужно было дотолкать до берега, потом хватать их — сырые, скользкие и ужасно тяжёлые — за один конец, в то время как другой подхватывали Моисей Соломонович с малорослым мужичком, и выползать на сушу.

Если четыре мужика могли справиться с баланом, значит, он был самого малого размера.

В ход пока шло молодое дерево, неширокое в объёме и длиной не больше пяти метров, а чаще и поменьше. Но в воде виднелись такие великаны, которые и целым взводом не стыдно было бы нести.

Берег к тому же был каменистый, ступать по нему, еле удерживая балан, оказалось мукой.

Сивцеву в пару достался китаец. Китайца Сивцев почему-то называл “зайчатина”. “Давай, зайчатина, мырай глубже... — повторял он не без удовольствия. — Непапошный какой...”

Мелкий мужичок с Моисеем Соломоновичем сработаться никак не могли. Первый балан, который дотолкали Артём с Афанасьевым, они ещё кое-как, чертыхаясь и семеня, помогли оттащить подальше от воды, а следующий балан мужичок выронил, Ксива заорал на него, и тот сразу как-то подетки заплакал.

— Я работал в конторе! — всхлипывал он. — С бумагами! А меня который месяц принуждают надрывать внутренности! Сил во мне не стало уже! “Юродивый”, — подумал Артём раздражённо.

— Начальник, да на хер он не нужен! — прокричал Ксива и тут же, торопливо загребая руками, ушёл вглубь, когда десятник направился к нему. На спине у Ксивы тоже были прыщи, они шли рядком, как белоголовые насекомые, по лопатке, через позвоночник и вниз к заднице.

Натрудив руки, наломав ноги, выволокли с горем пополам десяток баланов на берег.

“...А десятник сказал, что урок — сто!” — ошалело, но ещё способный в мыслях позабавить себя, подумал Артём.

С берега баланы нужно было тащить на лесопильный завод.

Пока поднимали, присаживаясь и надрывая спину, первый балан на плечи, Артём успел возненавидеть его, как живое существо, — неистово и пронзительно.

“Какой же ты, сука, тяжёлый, скользкий, хоть бы тебе всю морду изрубили топором, гадина...”

Впопыхах первый заход Артём сделал без рубахи. Ещё на полпути разодрал голое плечо о дерево.

Дорога оказалось неблизкой, по кочкам и кустам. Артём неустанно обмахивался от комарья. Афанасьев, даром, что поэт, оказался выносливым как верблюд: “Хорош танцевать, Тёма!” — просил он, тяжело дыша в нос.

Нос балана несли Сивцев с китайцем, Артём неотрывно смотрел китайцу в чёрный затылок.

На лесопильном визжала пила. Не видя пути, Артём по звуку понимал, что они близко, ещё ближе, ещё... Вот, кажется, пришли. На “три-четыре” — командовал Афанасьев — сбросили балан, и такая благодарность во всём теле вспыхнула на мгновение. Вот только комарьё...

Неприветливый, сгорбленный работой мужик вышел из помещения, посмотрел на прибывших и, не поздоровавшись, исчез в дверном проёме.

Обратно Артём бежал почти бегом — к своей рубахе.

— Куда погнал? По работе соскучился? — крикнул вслед Афанасьев.

Мокрое бельё противно свисало. Артём чувствовал свою закоченевшую, сжавшуюся и ощетинившуюся мошонку. Вдруг вспомнил, что забыл хлеб

в кармашке, сунул руку — так и есть, пальцы влезли в сырой и гадкий мякиш. Оскользнулся на кочке, упал, непроизвольно выбросив вперёд руку — как раз ту, что сжимала хлеб.

Осталось немного на пальцах: Артём лежал на траве, животом чувствуя холодную илистую воду... облизывал руки в хлебной каше.

— О, затаился, — раздался позади голос Афанасьева. — Олень выжидаешь в засаде? Или на лягушек охотишься?

Артём поднялся, почувствовал, что вот-вот заплачет. Вертел головой, чтоб Афанасьев не увидел.

Это был последний хлеб, впереди ещё два дня оставалось на пшёнке и треске.

...Справился с собой, сжал зубы, вытер глаза, заставил себя обернуться и улыбнулся Афанасьеву. Получилось — оскалился.

Сивцев обратно не торопился и передвигался почему-то на корточках. Ягоды собирает, догадался Артём.

Ему ягод не хотелось. Дотащили два балана — оставалось девяносто восемь.

На следующей ходке стало жарче, хотя день был стылый. Обратил внимание на Сивцева — тот был будто бы в сукровице: сначала Артём подумал, что мужик разбил висок вдребезги. Оказалось — ягоды: намазал рожу от комаров, деревенский хитрец.

Возвращаясь, Артём тоже попытался найти какой-нибудь хоть бы шикши. С первого раза не получилось — десятник Сорокин заскучал на берегу и пошёл встречать приподздившихся работников: снова разорался, как обворованный.

Во второй раз Артём угодил на ягодную россыпь — чёрт знает, что за ягода! — но весь умазался. Втирал с таким остервенением, словно узнал, что смерть подошла к самому сердцу, а тут попалась живая ягода, может уберечь.

...Хоть на глаза и лоб перестали садиться.

Мелкого мужичка, которого никто не знал, как зовут, материли теперь все подряд, кроме Моисея Соломоновича. Мужичок поминутно останавливался передохнуть, едва вставал и тут же норовил споткнуться и завалить балан, охал и вскрикивал.

Когда солнце зашло за полдень, мужичок отказался работать.

Подошёл, хромая на все ноги, к десятнику и сказал:

— Убей, я не могу.

— И убью, — ответил десятник и начал убивать: сшиб с ног, потоптал мужичку лицо, несколько раз вогнал сапог в бок, крича при этом:

— Будешь работать, филон?

Работающие остановились — всё, отдых. Кто-то даже закурил. Один китаец отвернулся, присел и глаза закрыл, как исчез.

— Я не могу! Не убей! — слабым голосом вскрикивал мужичок. — Не могу! Не убей меня!

Артём тупо смотрел на это. “То — “убей!”, то — “не убей!”, — мельком заметил про себя.

Если бы мужичка и убили сейчас же, он бы, наверное, ничего не почувствовал.

“...Какое всё-таки странное выражение: “Не убей меня!”, — снова заметил Артём. — Никогда такого не слышал...”

Когда кто-то крикнул: “Хорош, слушай!” — Артём какую-то долю мгновения даже не понимал, что это крикнул он сам. По щеке Артёма пошла трещина — ягодный сок присох, а рот раскрылся и щека будто пополам надорвалась.

Десятник, несколько не задумываясь, развернулся и уже в развороте забросил дрын в Артёма, как в чистое поле.

Артём едва успел пригнуться, а то бы ровно в лоб угодило.

— Принеси, шакал, — скомандовал ему десятник.

В глаза десятнику Артём не смотрел, на других лагерников тоже. Скосился на двоих конвойных — они наблюдали за всем происходящим с единствен-

ным и очень простым чувством: им хотелось, чтоб кто-нибудь дал им причину озлиться. Один даже привстал и всё перетаптывался — так не терпелось.

Артём сходил за дрыном — тот лежал неподалёку на камнях. Не поднимая глаз, отдал его десятнику.

За всю эту тошную минуту к нему не пришло ни одной мысли, он только повторял: “А мальчишкам-дуракам толстой палкой по бокам”.

Выхватив дрын, десятник замахнулся на Артёма, но тот с не свойственной ему поспешностью и незнакомой какой-то, гадкой суетливостью увернулся и, ссутулившись, побежал к воде — работа, работа заждалась.

Даже рубаху не снял — так и влез в неё сразу по самую глотку.

Остальные полезли за Артёмом.

— Мне не по силам, гражданин десятник, — по слогам умолял мужичок на берегу десятника, — не по силам. Сердце в горле торчит! Умру ведь!

Когда Артём с Афанасьевым подгоняли очередной балан к берегу, выяснилось, что десятник взамен работы придумал мужичку другое занятие.

Встав на пенёк, мужичок начал выкрикивать:

— Я филон! Я филон! Я паразит советской власти!

Ксива заржал, другие блатные тоже захихикали.

— Я филон! Я филон! Я паразит советской власти! — повторял мужичок, как заведённый.

— Две тысячи раз, я считаю, — сказал десятник Сорокин, довольный собой.

Конвойные, парни ражие, тоже заливались.

Скопив на берегу десять баланов, снова отправились к лесопильному заводу. Левая рука была вся ободрана о кусты: когда танцевали по дороге на кочках, цеплялись за что попало. Теперь поменялись сторонами с Афанасьевым, и Артём цеплялся правой.

За спиной всё раздавалось:

— Я филон! Я филон! Я паразит советской власти!

На обратной дороге Артём как следует выжал рубаху, но, странное дело, волглая ткань оказалась ещё холодней, чем совсем мокрая.

Ягодный сок с лица смыло, новых ягод не попадалось. С размаху бил комаров — на ладони россыпью оставались алые отметины, значит, сидели сразу дюжиной.

Взамен усаживались новые, бессчётные.

Мужичка хватило ненадолго, уже через полчаса он еле сипел. Десятник время от времени подбадривал его дрыном.

Принесли обед; мужичок, косясь на еду, выкрикнул из последних сил про филона и паразита и шагнул было за пайкой, но десятник не понял, к чему это он.

— Ты куда, певчий клоп? Куда собрался? — заорал десятник. — Ты думаешь, ты заработал на пожар? Какой обед филону? Тысяча штрафных!

Артём даже не смотрел, что происходит, только слышал, что бьют по живому и беззащитному с тем ужасным звуком, к которому он так и не привык к своим двадцати семи.

* * *

“Что же это такое? — беспомощно и обрывочно думал Артём, подбедая обед. — Почему так всё совпало? До сих пор как-то уворачивался!.. Что теперь делать с этим Ксивой? За ним блатных свора... Не Василий же Петрович будет со мной... Да ещё я зачем-то его обидел!.. А с десятником? Какой стыд! Как я бежал от него — стыд! Почему же я не убил его?..”

Артёма никто и не бил никогда, кроме отца. Но отец — когда это было!.. Он даже имя его забыл.

К тому же оставалось штук семьдесят баланов — как и не начинали.

Афанасьев, у которого откуда-то находились силы говорить, рассказывал про чеченцев. Артём вяло слушал, иногда забываясь. Тем более что мужичок сипел ещё:

— Я филон, я филон, я паразит... советской... власти!.. Я филон... Паразит...

— Не филонь, филон, — куражился десятник Сорокин. — Сначала два раза про филона, потом — паразит. А то нескладно звучит. И громче, громче! Ну!

Артём отыскал себе веточку на земле поровней да повкусней — обкусил концы, приладил в зубы. Сидел, расчёсывая ногтями колени, разгоняя кровь.

“Нельзя слабеть! Нельзя поддыхать раньше времени!” — повторял он себе, разгрызая ветку.

Потом выплюнул её, укусил себя несколько раз за руку, пробуя чувствительность.

— ...Характер не поймёшь какой у этих ребят, — всё рассказывал Афанасьев, пытаясь говорить так, чтоб его было слышно за криками мужичка. — Который младший чечен — пошёл за пайкой в каптёрку, принёс три. Как он там их уговорил, что сказал, я не знаю... Вроде отзывчивые, но сразу и беспощадные... и наивные как дети, и хитрые... Чудной народец!

За полчаса, пока обедали, Артём немного отдышался, хотя снаружи, наоборот, наполнил озноб: мурашки по коже разбежались, как ледяные вши.

Как бы хорошо, чтоб сейчас нагрело и образовалось вокруг огромное солнце, раскалённое и золотое, как самовар, зажмурившись, мечтал Артём. К нему сначала можно было бы протянуть руки, почти в упор, едва не прикасаясь ладонями. Потом развернуться и на минутку прислониться спиной, чтоб от рубахи с шипом пошёл пар; главное — успеть оторваться, пока рубаха не прилипнет к самовару, а то дыра будет... Но если медленно отстраняться от самовара, а не рывком, то с мелким потрескиванием ткань отойдёт, и как тогда хорошо будет спине, как сладостно... Потом развернуться и ноги, пятки протянуть — пятки были ледяные настолько, что их можно было бы прямо в огонь...

— Гражданин десятник, можно костёр развести? — спросил Ксива.

— Лето на дворе, какой костёр, работать пора, шакалы, — ответил десятник и сразу заорал:

— Работать, шакальё! Только начали, а уже сдохли!

К баламам, выгашенным на берег, Артём поспешил с некоторой надеждой согреться.

Конвойные кидали шишками в филона и паразита, тот не пытался уклониться, а только делал иногда мягкие, черпающие движения руками, всякий раз будто пытаясь поймать шишку и никогда не ловя. Иногда стучало по лбу — метили, видимо, в рот и никак не могли попасть.

— Гражданин десятник! — не унимался Ксива. — У нас Оперетка без пары остался, он к тому же длинный, тока мешает... не пришей к манде рукав, а не работник. Пусть поёт тогда — он петь любит. Вон поставьте Моисея на соседний пенёк.

Десятник послал было Ксиву на самые даля, но другие блатные просьбу Ксивы поддержали — из воды было не так опасно препираться. Наконец, один конвойный одобрительно подмигнул десятнику, хотя конвойному как раз было всё равно: он-то, в отличие от десятника, за урок не отвечал.

— Иди сюды, Соломон, — сказал десятник и тут же отвлекся:

— А ты что притих? Давай-давай, филон и паразит! Ори во всю глотку, йодом в рот мазанный!

Моисей Соломоновича действительно поставили на пенёк. Он беспомощно оглянулся, словно не видел вокруг еды, а без неё начать петь не умел, тем более что мелкий мужичок явно мешал... Но, вздохнув пару раз, Моисей Соломонович вдруг вступил в песню.

Сначала — бесконечную про то, как родная мать меня провожала; следом, приметив оживление конвойных, — “Яблочко”, при этом непрестанно нашлапывал себя по комариным щекам. “Жги, барабань!” — подначивал на это Ксива. Потом запел что-то цыганское, а поклонив с “цыганочкой”, затянул вдруг незнакомую Артёму про сокола: “Расстужился млад ясен сокол, сидючи сокол во поиманье. Во золотой во клеточке, на серебристой на шесточке...”

— Про Секирку песня, — тихо засмеялся Афанасьев.

На Секирке, рассказывали, были такие жерди, как для курей, только потолще; на них штрафников заставляли сидеть целыми сутками. Через несколько часов тело ныло и гудело, умоляя прекратить эту муку, но прекращать было нельзя — за любое движение били втрое хуже, а потом всё равно возвращали на жердь.

Потешный мужичок всё это время сипел свою речёвку, к его простуженному кудахтанью уже попривыкли, и если он замолкал, пока к нему не направлялся десятник, помахивая дрыном, становилось как-то странно и необычно. Но когда десятнику оставалось до пенёчка несколько шагов, раздавалось шипящее “Я филон!” — и всё вставало на свои места: вода, балан, филон, поёт Моисей Соломонович, звон в ушах, чёрные круги перед глазами. Вода тоже расходилась кругами, и круги в глазах то путались с водной рябью, то сливались с ней...

Подташнивало, ныла голова, по плечу стекала тёплая кровь.

Моисею Соломоновичу мужичок не мешал.

“Жалобу творит млад ясен сокол, — пел Моисей Соломонович, — на злётные свои крылышки, на правильные мелки пёрышки: “Ой вы, крылья мои, крылышки, правильные мелки пёрышки!””

— Контру разводит, а эти олухи не слышат, — всё смеялся, хоть и подзамученно теперь, Афанасьев, толкая балан к берегу.

Соски у Афанасьева, заметил Артём, стали почти чёрными.

“Уносили вы меня, крылышки, и от ветра, и от вихоря, — выводил Моисей Соломонович, — от сильного дождя осеннего, от осеннего, от последнего... Не унесли вы меня, крылышки, от заезжего добра молодца, от государева охотничка!”

“Что творит...” — подумал Артём... Но и думал он уже еле-еле, будто бы заставляя всякую мысль сдвинуться с места.

Пришла пора снова тащить баланы на лесопильный завод. Там их укладывали штабелями — тоже надрывная забота.

Давя комаров, Артём заметил, что на щеке уже образовалась кровавая корка. Подумал мельком: “Вот бы столько крови набралось, чтоб уже не прокусывали”.

К вечеру десятник и конвойные подостыли и развели, наконец, костёр. Иногда давали и работягам погреться минуту-другую.

Конвойные, услышал Артём, начали донимать десятника, что пора домой. Тот матерился, что урок не сделан по вине ленивой и медленной скотины — лагерников.

Некоторое время Артём до горячего жжения в застывшей груди надеялся, что всё прекратится сейчас же... Но десятник как-то договорился с конвоем.

Последние из положенных на сегодня баланов вытаскивали на берег уже в болотистом сиянии белой соловейской ночи.

Никто не разговаривал, как будто забыли все известные слова.

Моисей Соломонович сам попросился у десятника помочь доделать работу, и его отпустили — наслушались. Зато мужичок, стоя на пенёчке, так и вскрикивал про филона.

— Во гриб, — вдруг прошептал Афанасьев. — Ты не думаешь, что он нарочно?

Артём не думал.

...Пропахшая мерзостью и человеческим копошением трапезная, куда дошли они уже в одиннадцатом часу ночи, показалась родной, долгожданной и милой.

Там была шинелька.

Артём, не глядя в миску, поужинал холодной кашей, выпил полкружки тёплой воды, положил сырое бельё под себя, влез в шинельку и пропал. Быть может, даже умер.

Когда чеченцы скомандовали: “Рота, подъём!” — Артём исхитрился увидеть длинный и содержательный сон. Что он поднялся, умылся, извлёк из-под себя портянки и штаны с рубахой — подошли, хорошо, — при этом что-то такое бубнил Василий Петрович, прыгая с первое на пятое, а потом вдруг вытащил валенки из своего мешка и дал Артёму: носи, мол, ведь баланы не шутка. Артём тут же в них влез и странным образом ощутил себя целиком внутри валенка — очень терпко и тепло пахло там, немного кисловато, но так даже лучше. Понежившись, он выбрался из валенка, отправился на утреннюю поверку. Всё это время и в трапезной, и на поверке орал мужичок-с-ноготок про филона и паразита, но это не мешало перекличке. “Двести пятидесятый, полный строй до десяти!” — выкрикнул Артём и здесь понял, что забыл позвать! Как же так, какой ужас! И когда ж все успели? Где он был? Неужели на параше? Но ведь очередь стоит не меньше часа, что он целый час делал на параше? Получив наряд на ягоды, — ну, слава Богу, слава Богу, слава Богу! — Артём поспешил обратно в трапезную, точно узнав откуда-то, что Василий Петрович взял и сберёт ему пшёнку, с большим куском масла, не виданного уже четвёртый месяц, и поставил её под шинельку, чтоб не остыла, масло там отекало и таяло... Так мать оставляла Артёму кашу, когда он был ребёнком, завернув её в старый плед. Стремясь избежать встречи с Ксивой, Крапиным и десятником Сорокиным, Артём почти добежал к своим нарам. Вслед ему крикнули что-то чеченцы, тоже обидное... Всё летело ко всем чертям последние дни, только каша могла спасти! “И там ещё пирожок!” — крикнул Василий Петрович, Артём влез на нары, забрался обратно в шинель, поджал ноги, чтоб не торчали наружу, зажмурился, чтоб даже глаза сохраняли тепло... Только вот каша... Что с кашей?!

— Рота, подъём! — ещё раз настырно проорал чеченец; не прошло и мгновенья с тех пор, как он выкрикнул “Подъём!” в первый раз.

— Рота, подъём! — проорал он и в третий раз.

— Что ты, б..., кукаречишь, как петух, по три раза? — крикнули на чеченца. Артём уже проснулся, узнав голос Ксивы, хотя одной рукой всё-таки слепо трогал нары под собой и рядом: не лёг ли он на кашу, не опрокинул ли её?..

— Кто сказал “петух”? — громко спросил чеченец. “Петух” он производил через длинное “и”.

Как же хочется спать! Артём, не раздумывая, дал бы сейчас мизинец отрубить себе за сон. Особенно мизинец на ноге. На ноге он вообще не нужен. По мизинцу за час сна.

Появилась рука Афанасьева с пирожком — Артём отчего-то испуганно посмотрел, на месте ли мизинец Афанасьева? Да, на месте. А потом образовалась ухмыляющаяся рожа петроградского поэта:

— Ты спал вчера, когда принесли... За ударный труд. Представь, чего мне стоило его не сожрать! Я его нюхал всю ночь. Оставь на день, я ещё понюхаю?..

Артём под дурацкий смех Афанасьева выхватил пирожок и тут же целиком засунул в рот! Его взяло сомнение: вдруг и это приснилось? Пирожок был настоящий, с капустой, Артём жевал и чувствовал, как крошится его лицо: это всё вчерашние комары, замешанные с кровавой ягодой... или наоборот...

— Видела б тебя родная мать, — сказал Афанасьев — он-то вчера как-то исхитрился умыться.

Надо было прыгивать скорей — в любую минуту мог появиться Крапин, а то и Кучерава: они ежеутренне обходили ряды, нещадно подгоняя спящих лагерников; бывало, и рёбра ломали.

В эту ночь Артём впервые не поднялся на парашу — пришлось идти вместе со всеми; и ничего, снёс, стерпел. Высокий ушат с положенной поперёк доской; напротив, лицом к лицу, стоит очередь и подбадривает иногда друг друга. Ксива, чтоб на него не смотрели, начал, будто в шутку, себя доить за уд, пугая всех: “Щас! Ай, щас! Уже подходит! Разойдись!”

Парашу, заметил Артём, выносили два фитиля, нанятых чеченцами за махорку. Продевали палку в ушки ушата и тащили в центральную уборную. На той же палке, что и парашу, чеченцы внесли чан с кашей.

Хоть этой палкой и не мешали в чане, всё равно было неприятно. Но не так, чтоб расхотелось жрать.

С кормёжкой Артём характер не выдержал — влез в очередь один из первых, позабыв даже, что где-то здесь есть Ксива, так, к слову, и не откликнувшийся на вопрос чеченца... “Вот ссыкливая падлота”, — подумал Артём. В очереди было хорошо, тесно, весело, тем более что штаны и рубаха высохли, вот только валенок никаких не оказалось.

Поев, почувствовал себя немного уверенней.

За кипятком тоже надо было подсутиться — кипяток имел обыкновение заканчиваться.

“Если Ксива сунется — ударю”, — решил он про себя.

Василий Петрович подошёл, посмотрел на Артёмово лицо, покачал головой.

— Слышали? — спросил. — Бурцев сегодня стал отделенным.

Артём молча порадовался, что Василий Петрович простил его: утро-то неплохо начинается, может, и дальше так пойдёт.

— Хорошо... Хотя мы с ним... не сошлись до такой степени, чтоб мне... испытывать надежды... — отвечал Артём, попивая кипяток.

В сон всё-таки клонило очень сильно, и синяк на ноге саднил, и ладони, ободранные о кусты, ужасно ныли — Артём прижимал их к банке с кипятком и от удвоенной боли чувствовал даже некоторое удовольствие.

— Всё приличный человек, — сказал Василий Петрович почему-то с сожалением. От него, кстати, ощутимо пахло чесночком.

Артём тоже хотел чеснока, но не хотел, чтоб его жалели, и остро осознал, что на ягоды к Василию Петровичу всё равно не попросится: характер.

Пришёл Афанасьев, чокнулись банками с кипятком, Артём сказал, улыбаясь и чувствуя объеденные комарами щёки:

— А ты ничего. Я, ещё когда мы пни корчевали, заметил.

— Артём, голуба, я, бывало, на воле по три дня не ел, — ответил Афанасьев. — Достанется где кусок хлеба — и снова на три дня. А тут у меня на обед суп с кашей, вечером снова каша. Захотел — посутился и сделал салат из селедочки с луком. Совсем задурил — пошёл и купил себе конфет в ларьке. Разве в этом счастье?

— Конфет? — удивился Артём, не поддерживая разговор про счастье. — Откуда у тебя деньги? Скопил, что ли?

— Почему? В карты выиграл. Будешь мармеладку?

У Афанасьева действительно была мармеладка, и он угостил ею Артёма.

От сладкого даже в мозг ударило: такой душистый, томительный вкус.

“Я с детства занимался собой, вертелся на турнике, даже боксу учился, работал грузчиком, а это — поэт! И такая живучая сущность, — дивился Артём, глядя на Афанасьева. — И характер такой простой!.. Всё-таки и у меня есть какие-то углы, и я этими углами цепляю то Ксиву, то Крапина... А у Афанасьева вообще никаких углов нет, он втекает в жизнь — и течёт по жизни... Хотя нет, его же убрали с дневальных?..”

— ...Слышишь меня? — смеясь, спросил Афанасьев, рассказывавший что-то.

Артём отрицательно покрутил головой, снова улыбаясь, и вдруг спел:

— “Не по плису, не по бархату хожу, а хожу-хожу по острому ножу...” Откуда я знаю эту песню? Никогда её не слышал.

— Как не слышал, — добродушно удивился Афанасьев, — вчера Моисей исполнял.

* * *

“Человек — живучая скотина”, — думал Артём по дороге на баланы. Сердце его разогнало кровь, глаза проснулись, сон сошёл, душа ожила.

“Это сейчас ты так говоришь! А если такой наряд тебе будет выпадать до ноября? — спросил Артём себя. — Представь, каково в ноябре, да в канале, да по глотку...”

Отмахнулся, не стал представлять; обернулся на монастырь.

“Надо мхом порастить и стоять на любом ветру каменно...”

Вчерашняя партия была в полном составе, даже потешного мужичка опять прихватили, может, из подлости. Звали его Филиппом — Афанасьев узнал. Убил Филиппок свою матушку и по той причине оказался в Соловецкой обители.

— Работать не будешь — вечером выдавлю глаз и заставлю съесть, — посулился ему негромко Ксива.

— Потяну ляжку, пока не выроют ямку, — кротко и еле слышно ответил Филипп.

После того, что Афанасьев рассказал про Филиппа, Артём непроизвольно сторонился мужичка. От слов его, будто бы помазанных лампадным маслом, воротило.

Как дошли до места, Моисей Соломонович сделал три крута вокруг своего пенька — не позовут ли его попеть и сегодня. Но никто знака не подавал.

“Ах, как жаль, — говорил весь вид Моисея Соломоновича. — Как жаль, ах...”

После вчерашнего концерта Артём поглядывал на Моисея Соломоновича с интересом: судя по всему, это был человек увлекательный.

Не дожидаясь понукания десятника, Артём полез в воду. Рубаху он накрутил на голову, плечи намазал прибрежной грязью.

— Гражданин десятник, чё сегодня — опять сто? — поинтересовался Ксива. — Не великоват ли урок? — и тут же резво, как конь о двух ногах, забежал в воду.

Десятник Сорокин не поленился и запустил в Ксиву дрынком.

— Давай мой шутильник обратно, шакал, — скомандовал десятник; дрыны называли ещё и шутильниками.

— Утоп он, гражданин десятник, — отвечал Ксива, тщательно изображая поиски.

— Я тебе дам “утоп”! Он деревянный, как ты! Ищи!

Артём поймал себя на странном чувстве: ему б хотелось, чтоб десятник додал Ксиву, заставил принести шутильник и наказал бы пару раз этой самой палкой.

Но хитрый Ксива так и не отдал дрын, сколько Сорокин ни орал.

Наоравшись, десятник ушёл перекурить с конвойными. А потом и вовсе все трое отправились куда-то: наверное, за ягодами. На прощанье Сорокин крикнул, что сегодняшний урок уже сто пятьдесят баланов — полтинник накинули за дрын.

— А тут, даже если по двести, — ещё на неделю трудов, — прикинул Лажечников, из-под руки осмотрев канал.

— Ксива, б..., тебя утопить мало, — заругался Афанасьев, без особого, впрочем, задора.

Артём снова удивился: Афанасьев мог позволить себе говорить с блатным таким тоном. Мало того, Ксива ему вполне приветливо ответил:

— Да пошёл ты, Афанас. Иди в зубах ему дрын отнеси. Вон как твой дружок вчера.

Артём, хоть и стоял в воде, а почувствовал, что его внутренности будто облили чем-то горячим, липким, стыдным. Деваться было некуда.

— Ты, блатной! — выкрикнул Артём, и крепость собственного голоса его самого возбудила и поддержала. — Пасть свою зашей!

Отталкиваясь от баланов, Артём пошёл, стараясь делать это как можно быстрее, по направлению к Ксиве.

— Вы чё, хорош, — искренне засмеялся Афанасьев.

— Э, фраер, иди ко мне, — позвал Ксива Артёма, которому и так оставалось два шага. Артём изловчился и вдруг пробил правой прямой замечательно длинный удар Ксиве в лоб, да так точно, что голова его сначала, рискуя сломать шейные позвонки, резко шатнулась назад, а потом он всем телом завалился вперёд — благо что на балан, а то бы под воду ушёл.

Двое других блатных рванулись было на помощь, но тут влез Афанасьев: — Их разборка! Их разговор! Двое говорят — остальные стоят!

Ксиву приподняли с балана, он вращал глазами и даже разговаривать не мог какое-то время, только взмывкивал.

Лагерники молча работали. Лажечников хмурился. Сивцев часто шмыгал носом. Китаец привычно находился где-то глубоко внутри себя. Моисей Соломонович занимал всегда такое место, чтоб оказаться равно далёким от любой опасности. Филипп, крихтя и бормоча, бегал вдоль воды, как будто оттуда должна была вот-вот выпрыгнуть ему прямо в руки большая рыба.

У Артёма всё одновременно дрожало и ликовало внутри.

Сплонув, он вернулся к Афанасьеву ворочать баланы. Афанасьев был весело-удивлённым, но и несколько озадаченным.

Артём покусывал губы и старался не слишком коситься на Ксиву, но всё равно чуть болезненно прислушивался: не начнёт ли тот снова хамить.

Время от времени Артёму приходилось драться. Он не был к этому склонен, однако драться умел неплохо: надо было только переломить в себе врождённое нежелание ударить человека по незащитному и ранимому лицу, а дальше всё получалось само собою.

Блатные, выведя Ксиву на берег, покрутились возле, предлагая помощь... Кажется, он на них шикнул, и они снова зашли в воду.

— Неплохо, неплохо, — сказал Афанасьев, всё ещё улыбаясь.

Приятное тщеславие понуждало Артёма выказать свою невозмутимость. Для этого лучше всего подходило молчание.

— Стихов бы, что ли, почитал, — предложил он спустя несколько минут.

Афанасьев задумался, будто решая, говорить всерьёз или нет, а потом ответил очень серьёзно:

— Своих я ещё тут не написал, а прежние не считаются. И чужих не хочу. Буду здесь без стихов жить, как без женщины. Потом слаще окажется попробовать.

И тут же перевёл тему:

— Тёма, что ты хватаешься за самые тяжёлые брёвна, я не пойму. Сил до хрена, я увидел. Ну, так побереги их. Выбирай хлысты тонкие, худые баланы. Это девок надо выбирать помягче, а тут-то... зачем...

Десятник вернулся неприметно, наверное, ещё издалека заметил филоныщего Ксиву и путь от перелеска проделал едва ли не скоком. В руке у него был новый дрын.

Определённо, у Ксивы сегодня был тяжёлый день: пока он добежал до воды, ему досталось раз десять по хребту.

Работал он после этого, как в полуобмороке, а ближе к обеду его вдруг прямо в воде вырвало. Спящая нить свисала с отвисшей губы, пока не вытер, озираясь дурными глазами.

Вся эта хлебная слизь и непереваренная каша раскисались некоторое время на поверхности.

В какой-то момент Артём осознал, что не осталось и толики гордости за свою короткую и очевидную победу, и не потому, что Ксива еле передвигался, весь сонный и скисший, а потому, что день нынешний оказался ещё трудней, чем вчерашний.

И баланы за ночь стали будто тяжелее, и ветер — ещё более назойливым, и комарё даже на ветру не пропадало.

— Раз вы такой стаей летаете туда-сюда, дотащили б до лесопилки, — ругался на комаров Афанасьев.

Вообще Афанасьев всё больше нравился Артёму; он бы подумал об этом серьёзнее, когда б не разноцветные звёзды, пляшущие в глазах.

Откуда-то издалека раздавался рёв десятника Сорокина — тот снова называл потешного Филиппа за отсутствие сил и воли к работе.

Филипп сам предложил поорать про филона, хотя, признаться, голос его сел совсем.

— Слыхали? — обратился десятник к конвойным. — Он опять хочет орать про филона, а не работать!

Конвойные смеялись; Филиппа ещё раз, сбив на землю, поучили дрынном, он вскрикивал и безуспешно пытался уползти.

Сегодня Артёму и в голову не пришло бы за него вступаться. Вчерашний свой поступок он не понимал вообще и объяснить бы при всём желании не сумел.

Подступало тихое помутнение.

Артём медленно повторял, часто смаргивая: вот плавают звёзды перед глазами, вот плавают, вот плавают, а если их выловить, а если их выловить и сварить...

И представлялся ему суп: позолоченный, ароматный, источающий нежнейший дух.

Понемногу начало капывать прямо в суп, а потом как надорвалось — грянул оглушительный ливень, пузырящийся, шумный, толкотливый.

Било по мозгам так, что звенело и бурлыкало в голове.

Артём чувствовал озноб, сделавший руки негнущимися, движения — тупыми, пальцы — деревянными.

В воде оказалось лучше, чем на суше, — и все, кроме Филиппа, залезли в канал, стояли там меж пузырей, в угаре и грохоте дождя.

Десятник и конвойные сразу убежали поближе к деревьям и пережидали там, покуривая.

Филипп, приговаривая что-то, ходил туда-сюда по берегу, словно искал посреди дождя место, где не каплет.

Дождь шёл минут десять и разогнал комарё.

Но не успела рассеяться последождевая морось, как по одному, неистово пища, начали возвращаться комары.

“Нет бы ливень прошёл огненный, раскалённый”, — мечтал Артём.

Дорога до лесопилки и назад больше не согревала. Зато пятки едва чувствовали боль, и Артём наступал на камни, ветки, шишки с некоторым даже озлоблением.

Филипп работал теперь в паре с невысоким, хоть и втрое шире его Лажечниковым.

Уже вечерело, когда непрестанно что-то шепчущий Филиппок вдруг притих и несколько минут вёл себя настороженно и странно.

Артём с Афанасьевым подавали, кряхтя и клекоча, очередной особенно тяжкий балан из воды, и Филипп вдруг на глазах у Артёма исхитрился и — явно с задумкой! — сбросил руки. Лажечников пытался удержать балан, но куда там! Балан мощно тюкнул концом точно по ноге Филиппа.

— Эй! Ты что? — вырвалось у Артёма.

— Ай! — заорал Филипп. — Ай! — он ещё хотел прокричать заготовленное “Выронил!”, но боль, видимо, оказалась такой настоящей, что его хватало только на “Выр! Выр! Выр!..”

Афанасьев и Артём тоже сбросили свой конец и стояли, не шевелясь.

Только Лажечников, ничего не понявший, приговаривал, безуспешно пытаясь рассмотреть ушиб:

— Не то поломал?

Появившийся десятник, вообще не раздумывая, взял Филиппа за волосы и поволол — не куда-то и с определённой целью, а просто от бешенства, — и волочил кругами, пока кудрявый клок так и не остался зажатым в кулаке.

— Сука шакаля! — орал Сорокин. — Кого ты хотел обмануть? Я таких сук имею право удавить лично! Всем саморубам и самоломам положена смерть! Ты сдохнешь сейчас!

Артём, безвольный и глухой, прошёл к еле живому костерку, который только что разожгли конвойные.

Он был совершенно уверен, что Филиппа сейчас не станет.

Моисей Соломонович громко вздыхал. Артёму почему-то показалось, что тот молится.

Назабавившись и оставив Филиппа на земле, десятник Сорокин тоже направился к костру, бросил в огонь клок волос, которые так и держал в руке, и скомандовал: “Ну-ка все на хер в воду!”

— Не убей меня! — снова вскрикивал Филипп срывающимся, будто не находящим себе пути в надорванной глотке голосом.

Что-то придумавший Сорокин позвал блатных — и вскоре они откуда-то прикатили здоровый, пуда на полтора пень.

Подсушив пень на костре, Сорокин, произнося вслух то, что писал, вывел карандашом: “Предъявитель сего Филон Паразитович Самоломов направляется на перевязку ноги. После перевязки прошу вернуть на баланы для окончания урока”.

Конвойные хохотали, причём у Артёма было твёрдое чувство, что всё это уже когда-то было и теперь, только громче и назойливее, повторялось.

— Подымайся, шакал! — крикнул, завершив труды свои, Сорокин. — Думаешь, ты не сможешь работать на одной ноге? Сможешь! Сможешь вообще без ног, йодом в рот мазанный!

— Я не нарочно! — с подсвистом сипел Филипп.

— Либо я тебя забью дрыном по голове и брошу в канал, либо ты встал и пошёл с письмом в монастырь! — со всей возможной серьёзностью предложил Сорокин, яростно сжимая крепкую палку.

Артём увидел перед собой человека, готового к убийству и даже желающего его.

И Филипп встал.

Пень он сначала, шага три, нёс впереди живота — и уронил... взвалил на горб и с минуту шёл, далеко ступая здоровой ногой и очень мелко — ушибленной, натурально плача при этом... вскоре сам упал... дальше покати пень перед собой.

Артём вслед ему не смотрел, слыша лишь его стенания и жалобы. Иногда Филипп вскрикивал так, словно его прокальвало насквозь раскалённой спицей, — наверное, когда неудачно ступал на покалеченную ногу.

Они закончили урок ещё позже, чем вчера: с конвойными десятник снова договорился. Зарабатывал себе условно-досрочное, скот.

— Я решил купить плеть, — сказал Артёму Афанасьев, когда они, дотавив последний балан, бессильно возвращались от лесопилки на помаргивающий костерок. — И знаю как.

Полуночный дождь гнал их до самого монастыря. Шли по щиколотку в грязи.

Видя мутные монастырские фонари, Артём чувствовал, что это не дождь бьёт его в затылок и плечи, а он тащит за собой дождь, как огромную, полную ледяной и трепещущей рыбы сеть.

* * *

Ночью в роте удавился заключённый из их взвода.

Всех подняли в начале пятого, едва дневальный обнаружил мертвяка.

Артём просыпался так, будто ему — как кости, с хрустом — сломали сон, и открытый перелом шёл через трещащий от боли череп.

...Ротное начальство суетилось: может, убийство. Но лагерники точно понимали, что нет, поскольку это был фитиль, доходяга, никому не интересный. Он сидел четвёртый год, висело на нём пять, недавно отсидел в камере десять суток, и это его доконало.

Разбуженный Кучерава пару раз рубанул дневального дрыном за то, что недоглядел. Чеченец тарачил бешеные глаза, но у Кучеравы они были ещё бешеней.

Мертвяк висел в дальнем углу, исхитрившись удавиться с краю нар, прицепив удавку к жердям третьего яруса. Петлю смастерил из рубахи, порвав её на длинные лоскуты.

Никто ничего не слышал. Лагерник на первом ярусе так и спал головой к ледяным ногам давленника, пока не получил дрыном от Кучеравы.

Мертвяка ужасно материли за переломанный сон.

Дневальным велели снять труп; битый послушно полез и перерезал удавку, но принимали внизу всё равно те же фитили, что выносили парашу. Двое других чеченцев командовали и покрикивали.

Труп вынесли и положили на улице у входа.

Прибежала собака одного из лагерников по кличке Блэк, понюхала труп и села рядом. Во дворе ещё жил олень по прозвищу Мишка, но он сегодня держался в отдалении, хотя по утрам, едва появлялись лагерники, сразу спешил к ним: бывало, кто хлебом угощал, а кто и сахарком — далеко не все сидельцы бедовали. Потом тех, кто ему давал сахару, Мишка легко находил в любой толкотне.

Встал Артём в состоянии почти алкогольного опьянения, не помня и десятой части из того, что случилось вчера, и очень медленно осознавая происходящее сегодня.

Он без толку побродил по трапезной, готовый заснуть прямо на ходу, а скорее, всё ещё спящий.

Вышел на улицу, по дороге заметил, что Ксиву опять рвёт, и ничего не подумал по этому поводу.

Над трупом как-то особенно стервозно орали чайки, будто увидели вознёсную душу, она им не понравилась, и они хотели её заклевать, как чужую, прокажённую, лишнюю в этом небе.

Когда одна из чаек стала снижаться, чтоб, кажется, усесться прямо на труп, вдруг с необычайной злобой залаял Блэк. Чайка рванула вверх, но обиду затаила. Спустя минуту уже несколько чаек кружило над Блэком, норовя пролететь над самой его башкой, а он сидел невозмутимо, как будто сам умел в любое мгновение взлететь и порвать в воздухе кого угодно; только иногда поводил носом.

Плюнув кислой слюной себе под ноги, Артём вернулся в трапезную и влез обратно на своё место. Ему было муторно, зябко, предвотно.

Одежда Артёма не высохла. Видимо, тело его не смогло за ночь дать нужного количества тепла. Наоборот, шинелька подмокла и непонятно отчего внутренняя ткань стала какой-то склизкой.

Подошёл Бурцев.

— Команды ложиться не было, — сказал он.

Артём открыл глаза, посмотрел на него, хотел было просительно улыбнуться, но не хватило сил, подумал дремотно: “Белогвардейская сволочь...” — и закрыл глаза: может, пропадёт.

И заснул.

Подъём всё равно был через четверть часа, но эти четверть часа в покое значили непомерно много. Ещё бы часов семь-десять, и совсем было бы хорошо.

* * *

Первая мысль: неужели Бурцев пропал? Обиделся, интересно, или нет?

Вторая мысль: а был труп или нет, или приснился? Может, и Бурцев тогда приснился?

Труп лежал на месте. Блэк всё сторожил мёртвого. Чайки ходили неподалёку, косясь на недвижный человеческий глаз и дразнящийся язык.

— Ты помнишь, что я вчера сказал? — спросил Афанасьев у Артёма после завтрака.

“Купить плеть, силетовать” означало “побег”.

Артём ничего не ответил и даже не кивнул.

Они сидели на его нарах с кипятком в руках. Было только семь утра. Артём бесстыдно сколупывал вчерашнюю грязь со щиколоток. Афанасьеву было всё равно.

Минуту назад, перед тем как залезть наверх, он положил в протянутую руку живущего под нарами беспризорника мармеладку. Теперь два товарища со второго яруса смотрели, как рука вновь появилась. Некоторое время открытая грязная ладонь будто бы искала что-то — таким движеньем обычно пытаются определить, идёт дождь или нет. Больше мармеладок не выпало; рука исчезла.

Некоторое время молчали, тихо закивая от недосыпа.

— Отсюда не убегают, — сказал Артём, встряхиваясь.

— Убегают, — ответил Афанасьев, жёстко, по-мальчишески надавив на “г” в середине слова.

Ещё посидели.

Ни о каком побеге Артём даже думать не хотел.

— Ты вроде был иначе настроен к здешней жизни, — сказал он, еле справляясь языком с тяжёлыми словами.

— Дурак, Тёма? — прошипел Афанасьев. — То, что я могу выжить и здесь, не означает, что я буду тут жить... К тому же если остаться в двенадцатой, тут могут и уморить. Зимой уморят запросто.

— Ещё кипятка хочу, — сказал Артём, сползая с нар так, будто его всю ночь жевали и выплюнули, не дожевав.

Когда ставил консервную банку на свои нары, заметил, что рука от напряжения дрожит. Как же он теперь будет поднимать баланы, если пустую железяку едва держит.

Ещё надо было идти в сушилку, отнести вещи — у него были запасные штаны, имелся и пиджак. Он переоделся в сухое и, невзирая на лето, влез в шинель.

— С тобой схожу, — сказал Афанасьев.

Сушилка была в восточной части кремля; обслуживала она в основном администрацию, но иногда работники, тоже из числа заключённых, могли смилостивиться и взять шмотьё у простых лагерников.

Прошли мимо удавленника, за своим разговором и не посмотрев на него. Мёртвый язык, замеченный боковым зрением, еле тронул в Артёме человеческое, почти неосознано.

Если б Артём задумался об этом, он решил бы так: это же не человек лежит; потом: что человек — это вот он, идущий по земле, видящий, слышащий и разговаривающий, а лежит нечто другое, к чему никакого сочувствия и быть не может.

Афанасьев всё пугал Артёма предстоящей зимой:

— ...За невыполнение нормы раздели и оставили на морозе... Он и задубел. Это не “Я филон!” орать. И лежал за отхожим местом ледяной труп до самой весны, пока не начал оттаивать...

Артём вдруг вспомнил слова Василия Петровича, что в дневальные назначают только стукачей. Он же про Афанасьева говорил!

— К чему ты мне это рассказываешь? — перебил Афанасьева Артём.

Им навстречу из сушилки вышел хмурый чекист, и Афанасьев не ответил.

В сушилке уже стояло человек семь отсыревших бедолаг, причём некоторые из них были по пояс голые: сменной одежды они не имели.

— Куда ты тянешь своё тряпьё, иди под жопой его суши! — надрывался приёмщик, наглая рожа.

Всё сразу стало ясно.

— Человек человеку — балан, — сказал Афанасьев на улице.

* * *

В роте Бурцев бил китайца.

Китаец лежал на своих нарах и не хотел или не мог встать на работу.

Бурцев его тащил за шиворот.

Китаец не стоял на ногах, тогда Бурцев его бросил, но тут же склонился и начал неистово трясти за грудки, выкрикивая каким-то незнакомым Артёму, болезненно резким голосом:

— Встать! Встать! Встать!

Это “встать!” звучало, как будто раз за разом остервенело захлопывали крышку пианино.

“Вот ведь как... — вяло размышлял Артём. — Подумать-то: всего лишь отделённый. И такое. А мог бы и со мной такое проделать?”

Появился откуда-то Василий Петрович, весь, как курица, взъерошенный то ли от ужаса, то ли от удивления.

— Мстислав! — всё повторял он. — Мстислав!

“Кто у нас Мстислав?” — никак не мог понять Артём: отчего-то он никогда не слышал, чтоб кто-то называл Бурцева по имени.

Бурцев выпрямился и, не глядя на Василия Петровича, пошёл к выходу: скомандовали построение на поверку.

По дороге Бурцев вытирал ладони, словно только что мыл руки.

Василий Петрович помог подняться китайцу.

— Тём, а вот тебе не кажется странным, — привычно возбуждённый, бубнил Афанасьев, пока рота пыталась построиться. — Китай-то чёрт знает где. Там где-то ходят китайцы, живут своей муравьиной жизнью, и там есть родня этого нашего... как его зовут?.. Родня говорит по-китайски, ест рис, смотрит на китайское солнышко — а их сын, внук, муж валяется на каких-то Соловках, и его бьёт отделённый Бурцев?

Артём понимал, о чём говорит Афанасьев, но все эти отвлечённости не могли взволновать его. Вот Бурцев его удивил, да. Он ходил взад-вперёд, наблюдая, как строится отделение. Вид у Бурцева был сосредоточенный.

Василий Петрович привёл китайца, Бурцев не подал вида, словно случилось то, что должно было случиться.

Проходя мимо Артёма, Бурцев остановился, сощурился и сказал:

— О, тебя не узнать. Возмужал.

Артём попытался улыбнуться, но отчётливо понял вдруг, что его оплывшее, лихорадочное, болезненное лицо за два дня едва не съедено комарами и что Бурцев издевается.

“Грёбаный хлыщ, — подумал Артём. — Ему тоже теперь надо бить в лоб? Прекратится это когда-нибудь или нет...”

“Это он мне отомстил за то, что я не встал с кровати утром”, — мгновенно спустя догадался Артём.

Ни на какую радость после этого надеяться не приходилось, но судьба сыграла в своём жанре: Артёма с Афанасьевым сняли с баланов. Направили, правда, непонятно куда.

“Кого благодарить-то? — думал Артём. — Удачу? Где она — моя удача?.. Или Василия Петровича?”

Но Василий Петрович был, кажется, ни при чём.

Артём старался не смотреть на крутой, обваренный лоб Крапина, чтоб ничего не нарпортить.

Может, Афанасьев подсуетился?

Но Афанасьев вида не подавал, только посмеялся, лукаво глядя на Артёма:

— Главное, не центральный сортир чистить — остальное всё сгодится.

По пути в роту, когда движение застопорилось, кто-то больно толкнул Артёма в спину; он быстро оглянулся. Позади были блатные.

Поодаль стоял Ксива, смотрел мутно, словно что-то потушили в его голове. Под глазами у него были натурально чёрные круги.

— Амба тебе, чучело, — сказали Артёму.

— Что стряслось, братие? — тут же обернулся, качнув засаленным рыжим чубом, Афанасьев, шедший рядом.

— Не лезь, Афанас, — ответили ему.

Артём развернулся и сделал шаг вперёд. Его ещё раз, похоже, костяшками пальцев, сурово и резко ткнули под лопатку. Больше не оглядывался, наоборот, пытался скорей протолкнуться, но впереди, как назло, топтались медленные, будто под водой, лагерники.

Сзади хохотнули, произнося что-то обидное и гадкое.

Артём изо всех сил постарался не услышать — и не услышал.

Его потряхивало, он держал руки в карманах, сжав кулаки.

На улице по-прежнему орали чайки. Было необъяснимо, зачем природа сделала так, чтоб небольшая птица умела издавать столь отвратительный звук.

— Ты не дёргайся, — сказал Афанасьев очень спокойно. — Мы разберёмся.

Артёма будто кольнули тёплой иглой под сердце — всякое доброе слово

лечит, от него кровь согревается. Но виду не подал, конечно, да и верить никаких оснований не было. Ну, да, Афанасьев, кажется, с риском для себя поигрывал с блатными в карты, но с чего б ему разбираться и как?

— Я по юности сам воровал, Тёма, — сказал Афанасьев, будто слыша мысли своего приятеля. — Я знаю всех питерских. Попытаемся найти нужные слова. С ними базарить — это как стихи писать: уловишь рифму — и в дамки. А пока двигайся ловчей, у нас наряд по веникам.

— Каким веникам? Откуда знаешь? — встрепенулся Артём.

— Я ж и договорился, Тёма, — сказал Афанасьев. — Крапину тоже нужны деньги. Банные веники будем вязать. Заказ поступил от архангельских городских бань. Пока листопад не начался.

— А что ты там про сортиры тогда молол? — спросил Артём.

— А тебя пугал, — засмеялся Афанасьев, рыжий чуб тоже затрясся в такт смеху. — Но тут тебя вон сколько народу хочет напугать, целая очередь, поэтому...

— Я не боюсь, — сказал Артём, хотя, кажется, это было неправдой.

— Нет, голуба, — вдруг сменил тон Афанасьев, — ты их бойся: когда их больше одного, страшней их нет... Но добазариться иногда можно. А главное, Тёма, — венички у нас нынче! И без конвоя!

Афанасьев подпрыгнул и попытался ударить кружившую по-над головами чайку, та рванула ввысь, заорав что-то несусветное, истеричное.

— Проститутка! — выругался ей вслед Афанасьев и, уже обращаясь к Артёму, риторически спросил:

— Ты слышал, как она меня назвала?

Их обогнала подвода с трупом удушенника. На языке у него сидела жирная муха, не пугаясь тряски.

Артём вдруг вспомнил, что с утра не видел потешного Филиппка.

Утро оказалось слишком длинным, пора ему было переваливаться в день.

* * *

— Кто со мной разговаривал? — спросил Артём, совсем уже успокоившийся.

“Выкружу”, — сказал себе.

— Бандит Шафербеков. Порезал жену, сложил кусками в корзину и отправил по вымышленному адресу в Шемаху.

— А Ксива — он кто?

— Карманник. Но тоже вроде какую-то бабушку напугал до смерти.

— А прозвище у него откуда такое?

— Губу его видел? Она ж как ксива — всем её сразу предъявляет...

Артём покачал головой:

— И ты общаешься с этой мразью?

Афанасьев саркастично скривился:

— А здесь есть другие?

Артём пожал плечами: было очевидно, что есть.

— Ты думаешь, на любом бывшем чекисте из девятой роты меньше крови? — поинтересовался Афанасьев. — Там у каждого по дюжине таких корзин в личном деле.

— Я не про них.

— А про каких? Посмотри на Бурцева — что с ним стало за день! Отделенным назначили! А Мстислав наш из дворян наверняка. Плётку скоро себе заведёт, бьюсь об заклад. Чекисты, думаешь, суки, а каэры все невинные, как они сами про себя здесь рассказывают? Ага!

— На каэрах другая кровь, — сказал Артём тихо.

— Какая другая? Такая же. Сначала мокрая, а потом сворачивается.

— Ты понимаешь, о чём я, — упрямо повторил Артём.

— И твоего Василия Петровича я не люблю, — весело, но не без стержневой нотки продолжал Афанасьев. — Неровный тип. Знаешь, как мы с ним познакомились? Иду с посылкой от мамки, он ловит меня за рукав

в коридоре — это ещё когда я в карантинной роте был: хочешь, говорит, посылочку сберегу?

Артём помолчал и спросил:

— А что такого?

— А чего мне с ним посылочкой делиться?

— Тогда придётся делиться с блатными.

— Вот именно. И первый твой вопрос был: “Почему ты дружишь с этой мразью?”

Артём выдохнул и сказал миролюбиво:

— Да ну тебя.

Афанасьев хохотнул, очень довольный собой.

— Ты циник, Афанасьев, — сказал Артём уже совсем по-доброму, не без некоторого, признаться, уважения. — Ты мог стать замечательным советским поэтом. Никаким не попутчиком, а самым правозверным.

— Мог бы, — согласился очень серьёзно Афанасьев. — Но не стану. Мне и карт хватает, чтоб жульничать. А этим я не торгую.

— А ты совсем не веришь большевикам? — спросил Артём минуту спустя.

— Я? — встрепенулся Афанасьев и даже схватил свой чуб в кулак, слегка подёргивая. — В чём-то верю, отчего ж. Только большевики мне не верят совсем!

И снова захохотал.

Они нарубили-наломали дубовых и берёзовых ветвей и вязали выданной бечевой веники, ими же обмахиваясь от комарья.

Сегодня выпал день солнечный, высушивающий давешнюю сырость, и место они выбрали такое, чтоб подпекало, — так что было очень хорошо, даже чудесно. Нисколько не хотелось думать, кто там сегодня студится и надывается с баланами.

— А вы где играете? — спросил Артём, имея в виду карты. — За это ж могут на Секирку сослать.

— На Секирку... — сказал Афанасьев насмешливо. — И что теперь? Играем, где можем, — это сильней страха, игра — она вместо этой б...ской жизни соловещкой, затмевает её... Мест, чтоб громать, пока много: в оконных нишах играем... есть пара обжитых, ещё не пропалённых чердаков, за дровами место есть... В роте тоже играют иногда, разве не видел? Но ловят, суки, давят.

Афанасьев мечтательно смотрел куда-то далеко, будто мысленно раскидывал карты.

— Ты хорошо играешь? — спросил Артём.

— Играю? — засмеялся Афанасьев. — Нет, тут другое. Это не игра — это, Тёма, шулерство. Играть там — без смысла, важен только обман. Я в детстве хотел фокусы показывать в цирке, с ума сходил просто. Фокусам так и не научился толком, а вот с картами могу кое-что... А сама игра — это уже дело пятое. Главное, если хочешь выиграть, чтоб была своя колода. Или, на крайний случай, третьего человека. Всё дело в колоде: как ты её растасуешь — так и поиграешь, Тёма.

Артём помолчал.

— А карты откуда?

— Святыцы сделать — тоже своя забава, — с видимым удовольствием рассказывал Афанасьев. “...Во поэт”, — подумал Артём весело.

— Идут блатные в библиотеку, продолжая плановый процесс перековки, берут роман потолще... Режут страницы из книг, бумагу склеивают хлебным клеем — это когда хлеб обваривается кипятком и отжимается; отжатая жидкость — клейкая. А потом через трафаретку рисуют мылом, разведённым на чернилах, карты, они же “святцы”, они же “колотушки”, — с учительской интонацией закончил Афанасьев и, подняв веник, спросил:

— Жаль, на венике нельзя улететь, как Баба Яга, да, Тёма? Сейчас бы уселись с тобой — и адю, товарищи!

— Баба Яга ж — на метле, — отвечал Артём.

— А метла что? Веник! — не соглашался Афанасьев.

Веников они сделали уже полторы сотни, и надо было ещё пятьдесят.

— Давай-ка мы сделаем метлу, может, полетит? — сам себя развлекал Афанасьев.

Сходил до обильно наломанных ветвей, выбрал самые длинные, связал из них уродливый, в половину человеческого роста веник.

— А? — смеялся Афанасьев, пытаясь на него присесть и так разбежаться.

— У нас верёвки кончились, — подсмеиваясь, сказал Артём. — Вязать веники нечем. Урок не сделаем, хлеба дадут триста грамм, а у меня и так кончился.

— А я знаю, чем, — тут же сообразил Афанасьев. — Я тут брошенную колочку видел.

— Думаешь, надо? — спросил Артём, умиляясь на нового рыжего товарища.

— А чё, не надо? — отвечал Афанасьев. — Сказали: надо веники — вот будут им крепкие революционные веники.

Он сходил за колочей проволокой и вернулся с длинным хвостом, натужно волоча его за собой. Наломав колочки и заливаясь от смеха, изготовил “веничек соловецкий”, связав пышные берёзовые ветви колочкой.

Артём тоже заготовил свой такой же.

— “...Окровавленный веник зари!..” — продекламировал Афанасьев, размахивая новым изделием.

— Знаешь такой стих?

*И всыпает им в толстые задницы
Окровавленный веник зари!*

Серёга как в воду глядел!

— Нет, не знаю такой стих, — признался Артём, не очень-то поверив Афанасьеву: наверняка сам сочинил.

Подвязав ветви колочкой, а одну длинную, когтистую проволочную жилу ловко спрятав посреди душистых ветвей, Афанасьев изготовил “веничек секирский”.

— Ай, как продерёт! — кричал Афанасьев. — До печёнок! — он попробовал на себе и пришёл в ещё больший восторг.

Артём не отставал.

Закопав готовые соловецкие и секирские веники поглубже среди остальных, обычных, Афанасьев с Артёмом продолжили своё занятие.

“Веничек чекистский” шёл уже с двумя жилами колочки.

Веник с тремя рогатыми жилами наломанной колочей проволоки называли “Памяти безвременно ушедшего товарища Дзержинского”.

— Представь! — заливался Афанасьев, мотая рыжей головой и ловя себя за чуб кулаком; смех его тоже был какой-то рыжий, веснушчатый, рассыпчатый. — Тёма, ты только представь! Пришла чекистская морда в баню! Ну-ка, говорит, банщик, наподавай мне! Наподавал банщик так, что всё в дыму, ничего не разглядеть! Ну-ка, кричит из клубов пара чекист, пропарька меня в два веничка! И как пошёл банщик его охаживать, как пошёл!.. Чекист вопит! Банщик старается! Чекист вопит! Вроде пытается перевернуться! Банщик ещё пуще! Ещё злее! Ещё чаще! Ещё поддал! Ещё пропарил!.. Чекист уж смолк давно! Банщик постарался-постарался и тоже понемногу успокоился... И вот дым рассеялся, стоит банщик и видит: вокруг кровяща... ключья мяса!.. вместо чекиста — кровавая капуста!.. где глаз, где щека!.. где спина, где жопа!.. как в мясной лавке!.. и в руках у банщика вместо веника — два шампура с нанизанными лохмотьями мяса!.. и тут входит другой чекист... Ты представь, Тёма, эту картину! Входит! Другой! Чекист! И на всё это смотрит огромными детскими глазами! Картина “Банщик и чекист”, б...! “Не ждали”! Передвижники рыдали б!..

Артём так хохотал, что закружилась голова: кулак засовывал в рот и кусал себя, чтоб не ошалеть от смеха.

Веник “Суровая чекистская жопа” готовили долго, совместно. Он был огромен и толст — ухватить его можно было только двумя руками, да и под-

нять непросто. Проволочных жил там было с десяток. По большому счёту, таким воистину можно было изуродовать, главное — размахнуться как следует.

Две хилые берёзовые веточки, сплетённые с одной жилой колючки, называли “Терновый венчик каэровский”.

Так было весело, что едва не проглядели десятника.

Пока тот донёс к ним свою сизую харю, успели немного прикопать свои творения.

— Всё готово, начальник! — отрапортовал Афанасьев, сдерживая смех с таким невыносимым усилием, что, казалось, сейчас его разорвёт всего целиком.

— Тут вроде больше, — сказал десятник, помолчав.

— Гораздо больше! Ударными темпами в порядке боевого задания! — отчитался Афанасьев необычайно звонко.

Артём смотрел в сторону, по лицу его текли самые счастливые за последние месяцы слёзы.

— Возьмите себе попариться! — предложил Афанасьев так громко, словно десятник стоял на другом берегу реки.

— Чего ты орёшь? — спросил десятник.

Афанасьев потушил глаза и больно закусил себе губу. Веснушки на его лице стали такие яркие, словно их поджарили.

Десятник немного повозился и выбрал три веника, обнюхивая каждый с таким видом, словно пред ним были его портянки: забота о себе и нежность к себе были тут ровно замешаны с чуть приметной брезгливостью.

* * *

На Соловки прибыл новый этап, зэки не без удовольствия разглядывали, как идут от причала новички. Чужой страх грел, радовал.

Тринадцатую, карантинную, забили до отказа. Оттуда посидевших месяц-другой лагерников раскидали по другим ротам. В двенадцатую сразу угодило человек сорок.

Когда Афанасьев с Артёмом появились в роте, любопытные, как вороны, блатные крутились вокруг двух самых заметных новоприбывших — это были индусы Курез-шах и Кабир-шах.

Собственно, кроме своих имён, они мало что могли произнести. Первый вообще не знал русского языка, второй вроде бы понимал, но предпочитал улыбаться.

— Прямо ни одного слова по-русски не знаешь? — спрашивал Ксива, по обыкновению наряженный в пиджак на голое тело.

“Очухался...” — подумал Артём с неприязнью.

После нудных, с тупыми шутками домоганий не перестающий улыбаться Кабир-шах признался блатным, что они сели за шпионаж.

— Неплохо, да? — посмеялся Афанасьев, забираясь к себе. — Шпион, а русского языка не знает. Как же он шпионил-то? Считал, сколько собак в Москве и сколько лошадей? Чтоб понять, долго ли москвичи протянут в случае ещё одной революции?

Артём покачал головой на афанасьевские шутки.

Индусов забрал у блатных Крапин, определив их неподалёку от Артёма. Совсем рядом указали место ещё одному — совсем молодому пареньку в студенческой фуражке.

— Тут будешь жить, — сказал ему Крапин.

Свесив ноги, Артём с улыбкой смотрел на молодого.

— Это взводный? — спросил паренёк шёпотом, едва Крапин отвернулся.

Артём кивнул.

Парень протянул руку и представился: Митя Щелкачов. Крапин уходил уже, но вдруг обернулся и вперился в Артёма.

“Что ещё?” — подумал Артём, сжав челюсти.

Крапин сделал три твёрдых шага, подойдя почти в упор — чуть пахнуло селедочным духом. Артём чертыхнулся, не зная, как лучше поступить: остаться на нарах или спрыгнуть вниз.

— Сиди, — сказал Крапин негромко и, ещё выждав, проговорил, медленно и сипловато:

— Ты не дурной вроде тип, что ты тут строишь из себя? Ты ж не жулик, не вор, не фармазон. Хочешь быстро превратиться в фитиля? Вся зима будет на это.

Артём кивнул, ещё мало что соображая.

Крапин ушёл, Артём остался сидеть, иногда шмыгая носом, — раздумывал.

Никак не мог поверить, что Крапин вовсе, судя по всему, не желает ему зла. Иначе зачем он всё это сказал?

— Дорогой мой, — шёпотом позвал поднявшийся со своих нар Василий Петрович. — Между прочим, у меня есть настоящий чай. Если вы не будете по этому поводу кричать на всю роту, то мы вполне можем насладиться вдвоём.

Афанасьев так зашевелился наверху, что стало понятно: слышит. Но пить с Василием Петровичем он всё равно не стал бы, подумал Артём.

— Вижу, как горят ваши глаза, — сказал Василий Петрович, когда они уселись с чаем на его нары, вдыхая аромат с таким усердием, словно желали вобрать его весь. — Вижу глаза и слышал Крапина. Я как-то заранее догадывался, что всё именно так и обернётся. Вам везёт, Артём. Хорошая звезда над вашей купелью светила.

— Сколькимекопечная? — спросил Артём, и они опять немного посмеялись, прихлёбывая чай.

— Я немного разузнал о судьбе Крапина, — начал Василий Петрович негромко. — Когда он работал в милиции, однажды с таким усердием допросил некоего бандита, что тот скончался. Кажется, сейчас это называется “превысил полномочия”. В мои времена могли засесть, но я не припомню ни одной истории, чтоб полиция кого-то убила при допросе. Впрочем, и блатных — таких, как сегодня, — тогда тоже не было.

Василий Петрович вдохнул чайного аромата и продолжал, некоторые слова начиная шёпотом, а договаривая просто губами, без звука:

— Так вот, про нашего взводного. За бандита, убитого Крапиным, отомстили ему ужасно: зарезали его десятилетнего сына. Тогда Крапин превысил полномочия ещё раз и, захватывая некий притон, без всякой надобности застрелил там несколько человек, включая женщину и одного советского административного работника, пришедшего поразвлечься.

Артём внимательно слушал, не зная, какие выводы ему делать.

— Это удивительно, — вдруг, в своей манере, отвлёкся Василий Петрович. — В гражданскую убивали тысячами! На многих висит по трупу, по три, по десять! Тут один конвойный кричал, что расстрелял сто белогвардейцев в одном только двадцатом году! И вдруг кончилась война! И убивать теперь вообще никого нельзя! А люди привыкли! Крапин, думаю, искренне не понимает, как его, бывшего красноармейца, посадили за убийство нескольких блатных, случайной женщины и пусть даже административного работника, но ведь ставшего на подлый путь!

— Василий Петрович, — заговорил Артём с лёгкой усмешкой, чтоб его слова не выглядели как просьба о совете, — я только одного не пойму: как мне всю эту историю примерить к себе?

— Ну, Артём, — с деланой строгостью отозвался Василий Петрович. — Вам бы только стихи учить наизусть — да-да, я заметил за вами этот грешок, не смущайтесь, слишком заметно губами шевелите, и всё время одну и ту же фразу... Стихи учите, а в душах человеческих тоже можно кое-что прочесть. Вот читаю вам: наш взводный Крапин ненавидит блатных. Вы заметили: на Соловках крайне редко бьют каэров, что до нашего Крапина — он вообще их не трогает. А вот с блатными, напротив, он находится в постоянном противостоянии... И я не уверен, что он всегда будет выходить победителем. Для нынешней власти, как ни странно, подонки и воры — близ-

кие с точки зрения социальной. А Крапин не может взять в толк: с чего это мерзость общества может быть близкой? В отличие от большевистских идеалистов, Крапин уверен, что перевоспитать их нельзя. И спасти тоже не нужно. А вот вас, Артём, быть может, стоит спасти. Так, по крайней мере, думает Крапин. Когда он вас ударил палкой — он вас, знаете, как молодого бычка, направлял на верный путь. Ну, не словами ж ему было объяснять вам — это ниже его положения. Но ввиду того, что дрыном вас не вразумить, Крапин совершил необычайной силы поступок: он с вами-таки заговорил. Цените, Артём.

Артём так заслушался, что у него едва пальцы не прикипели к нагретейшей банке.

— А знаете, что ещё у меня есть? — засуетился Василий Петрович. — Баранки, не поверите. Верней, баранка. Суховата немного, но если вот так, — Василий Петрович с некоторым усилием разломил баранку на две относительно равные части и, оценив на глаз, передал Артёму большую.

“Всё-таки зря про него Афанасьев так, — думал разомлевший и благодарный Артём. — Ничего наш поэт не понимает. Прекрасный и родной человек Василий Петрович...”

— Вот смотрю на баранки и с горечью в сердце вспоминаю всё то, что когда-то от сытости и глупости не доел, — поделился Василий Петрович. — Помню, был пост, и я, с улицы явившись на обед, поковырял и не стал есть жареную гречневую кашу с луком! Лук мне показался несимпатичным! Каша — чуть прижаренной! И ещё была мороженая клюква с сахаром на столе — десерт. А я как раз баранок объелся перед этим на рынке. Отец так и погнал из-за стола — пост так пост!.. Ох, Артём, какое горе. Какую ужасную глупость я совершил. Так раскаиваюсь, так раскаиваюсь...

Василий Петрович макнул баранку к себе в чай и так сидел, застыв. Артём всё косился, не начнёт ли она разваливаться в кипятке — невкусно тогда будет.

— А ещё, помню, по рынку гулял мальчиком. И баба с капустой угостила меня кочерыжкой — из душистой кади выловила, как волшебную рыбку! — грызи, говорит, щербатый, молочные доломаешь — новые вырастут. А я так боялся расставаться со своими зубами, что не стал. Поблагодарил, отошёл подальше и сбросил кочерыжку в снег. Я бы сейчас в тот снег лицом, как пёс, зарылся, и нашёл бы её по запаху. Она же была — как счастье! — на зубах хруст! Ох-ох, Артём...

— А сколько я на Пасху яиц не съел! — горевал Василий Петрович. — Наберёшь, бывало, полные карманы крашенных яиц — биться с мальчишками. Набьёшь десяток — все карманы в красной скорлупе. И потом скормишь яйца птицам... А птицы такие были сытые на Пасху — не то, что мы сейчас. А сами пасхи! Ведь мама готовила и шоколадную! И фисташковую! Съешь той кусок, этой кусок — и сыт уже. Матушка потом угощала во дворе всех, а я даже не жалел — такой был перекормленный. Потом выйдешь утром — и стоит на буфете тарелка с засохшей пасхой, и думаешь: “Ах, не хочу, сколько можно...” Поймал бы этого пацана, который не хотел есть, сейчас за ухо и всё ухо ему скрутил!

Василий Петрович, невесело смеясь, даже сделал такое движение, каким ловят за ухо.

— Или вот, помню, лещ с грибами... Он был сказочный!.. Он был, как белый рыцарь, Артём!

— Всё, всё, всё! — запротестовал Артём, с некоторым остервенением кусая баранку. — Прекратите! Немедленно!

Из-под нар вылезла грязная рука; ладонь раскрылась.

Василий Петрович с видимым сожалением откусил баранку, оставив совсем немного, и хотел было положить в подставленную ладонь, но вдруг раздумал.

— Слушайте, — позвал он. — Ну-ка, вылезайте сюда. Хоть познакомимся. Что я вас кормлю, не глядячи.

Артём поскорее доел свою баранку — мало ли что там выползет, может, там всё струпами поросло.

Но нет, беспризорник был ещё человеческого вида, только невозможно грязен, очень худ и, самое главное, почти гол. В качестве верхней одежды он использовал кешер — то есть мешок с дырами для рук и головы, а на ногах у него ничего не было — только верёвкой приделанная большая консервная банка в области паха. Видимо, она заменяла ему бельё.

— Да... — сказал Василий Петрович. — Какие у вас... э-э... доспехи. Вот, садитесь на табуреточку в этот уголок, тут вас никто не увидит.

На вид беспризорнику было не больше двенадцати. Волосы его были грязны настолько, что цвет их, казалось, уже не различить. С ушами тоже творилось нечто невозможное, Артём постарался туда не заглядывать: кажется, они были полны грязью всклень.

— Чай будете? — предложил Василий Петрович. — О, только не в эту вашу банку, юноша. У меня есть запасная. Артём, не обеспечите ли ещё кипяточку?

С запасной банкой Василия Петровича Артём отправился к печке; там сутился чеченский дневальный — тот самый, с которым на днях ходили кладбище ломать.

— Чеченцы никогда не были христианами, — сказал тот пренебрежительно, посмотрев на Артёма.

— Как хочешь, — ответил Артём. — Можно водички согреть?

Василий Петрович нашёл ещё баранку и горсть сухофруктов. Беспризорник всё это сразу же закидал в кипяток и стал пить, вроде и не боясь обжечься.

— Вы хоть скажите нам что-нибудь, — предложил Василий Петрович.

— Чего? — бесстрастно спросил беспризорник.

— Мать есть у вас? — спросил Василий Петрович.

Беспризорник кивнул.

— А отец?

Беспризорник подумал и снова кивнул.

— А имя ваше?

— Серый.

— А откуда родом?

— С Архангельска.

— Чем ваша мать занимается?

— Откуда я знаю, я ж тут.

— Хорошо, чем занималась?

— Мать? Поломойка в бане.

— А отец?

— Отец есть.

— Чем он занимался?

— Напивался каждый день. Выгонял нас с матерью на холод, грелись в конюшнях.

Серый долго молчал, потом, видимо, устав от такого долгого разговора, решил сократить путь.

— Однажды отец пил с мужиком, поругались, и он убил его. Денег нашёл за пазухой. Сказал матери: “Ну, что поделашь! Давай привыкать к этому делу!”

Василий Петрович даже поставил свою банку на нары, обескураженный. Тихо спросил, почему-то перейдя на “ты”:

— И ты привык?

— Один раз очень долго убивали мужика, никак не могли убить. Очень кричал, и всё замазали кровью. И я ушёл. Дайте ещё баранку, я видел, у вас есть.

Василий Петрович вздохнул и достал баранку.

— А ты что делал? Воровал?

— У богатых воровать можно, — уверенно ответил Серый.

— А у бедных?

Серый подумал и не ответил. У него, похоже, была отличная манера: не отвечать на неприятные вопросы.

— А со скольких лет воруешь? — не унимался Василий Петрович.

— А сколько себя помню — всегда ворую. Пишите — с трёх лет.

— Мы не пишем, — тихо сказал Василий Петрович.

— А что тогда? Какой интерес?

Митя Щелкачов тоже прислушивался к разговору, сдвинувшись на нарах, чтоб искоса посмотреть на обросшую башку Серого.

Тем временем Артём копался в своих ощущениях: “Мне жалко его? Или не жалко? Кажется, что почти не жалко. Я, что ли, совсем оглох?”

Серый был вовсе не глуп — речь давала это понять, и Артём удивлялся: как же так?

И, только задумавшись о речи, он вдруг понял про себя какую-то странную и очень важную вещь: у него действительно почти не было жалости; её заменяло то, что называют порой чувством прекрасного, а сам Артём определил бы как чувство такта по отношению к жизни.

Он отбирал щенков у дворовой пацанвы, издевавшейся над ними, или вступался за слабых гимназистов не из жалости, а потому что это нарушало его представление о том, как должно быть. Артём вспомнил Афанасьева и его словами завершил свою мысль: “...Это не рифмовалось!”

На Соловках Артём неожиданно стал понимать, что выживают, наверное, только врождённые чувства, которые выросли внутри, вместе с костями, с жилами, с мясом, а представления рассыпаются первыми.

Беседу с пацаном прервал злобный гам в том углу, где кучно обитали блатные. Серый сразу исчез, как и не было, и недопитую посуду с чаем унёс.

Артём прислушался и через минуту понял, в чём дело.

Блатные сплошь и рядом прятали свои вещи либо рвали штаны, рубахи и даже обувь — лишь бы не ходить на работу: голых гонять запрещалось.

Озлившийся Крапин стал раздевать пришедших с дневной рабочей смены догола, чтоб одеть уходивших на ночные наряды.

— У меня всё сырое! С утра будет ещё сырей! Я в сыром пойду? — орал кто-то.

— А будут знать, как рвать! Симулянты гнилые! — орал Крапин, убеждая то одного, то другого дрыном. Ему вроде бы помогал Бурцев, но, как показалось Артёму, с блатными тот был сдержанней, чем с китайцем.

Когда с валявшегося на нарах Шафербекова Крапин самолично сорвал штаны, всем прочим стало понятно, что деваться некуда. Ксива расстался со своим пиджаком — рубаху у него ещё десятник Сорокин порвал. К ногам Крапина полетели ботинки, рубахи, сапоги.

— Посчитаемся, — сказал Шафербеков, накрывая ноги пальто, явно отобранным у какого-то несчастного.

Никак не предупреждая о своих намерениях и словно бы зная наперёд, что Шафербеков не смолчит, Крапин с разворота ударил его дрыном по лицу и ещё несколько раз потом добавил по рукам, когда гакнувший от боли Шафербеков закрыл голову.

— Посчитайся, — сказал Крапин, тяжело дыша. — Зубы свои посчитай пока.

Он сгрёб одежную кучу ногой и скомандовал ночной партии:

— Наряжайтесь, тёплое.

На всех явно не хватало, и Крапин, ходя меж рядами, велел раздеться Лажечникову, Сивцеву и многострадальному китайцу. На Артёма с Афанасьевым и Василием Петровичем даже не взглянул. Моисей Соломонович очень убедительно спал, как будто это могло его спасти, но вот подо ж ты — спасло.

На том бы и закончиться дню. К несчастью, времени хватило ещё на одно событие.

* * *

После нудной вечерней поверки ночная партия ушла, и всё вроде бы стихло.

Шафербекову принесли кувшин с водой и тряпку. Он долго умывал лицо, оттирал присохшую кровь с бровей и прикладывал ладони, полные розо-

веющей влагой, к губам. Блатные с напряжённым вниманием смотрели на Шафербекова, словно тот мог таким образом намыть золото.

Артём признался себе, что чувствует натуральное, огромное, очень честное и очень радостное злорадство.

Быть может, оно и сгубило его.

Шафербеков, долго трогавший шатающиеся зубы, поймал взгляд Артёма. Тот сразу отвернулся, откинулся на свои нары, притих, приготовился спать, даже задремал — день был длинный, длинный, длинный, хвост его терялся, добраться к началу было почти невозможно: беспризорный Серый с чёрным, полным золы ухом пил кипяток, два индуса улыбались и мягко раскачивались, веники были душисты и шуршали, Афанасьев хохотал, трясся рыжей головой, как будто соломой в волосах... Солома и солнце, а ещё раньше — давленник дразнился языком, и муха...

Афанасьева тем временем позвали к блатным, Артём не хотел об этом думать, он уже спал честно и крепко... но его всё равно толкнули.

Открыл глаза. Пожевал сухим ртом. Горела одна лампочка, и шёл свет через открытую дверь из тамбура дневальных.

Многие лагерники спали, но кто-то бродил меж нарами, кто-то лениво ругался, а Митя Шелкачев играл с одним из индусов в шахматы.

— Что? — сказал Артём, всё пытаясь найти слюну во рту.

— Тёма, в общем, договор такой, — быстро, словно желая поскорее завершить скучное дело, заговорил Афанасьев. — Делишь половину следующей посылки с Ксивой. Он пострадал.

— Какой посылки? — уселся на нарах Артём. — Моей? Да пошёл он.

— Тихо, — сказал Афанасьев, понизив голос. — Посылка ведь не пришла ещё. Погоди. Мало ли что случится, пока придёт. Не торопись.

Артём оклабился — ему ужасно хотелось выругаться. Афанасьеву тоже очевидным образом было не по себе.

— Ты не должен был его бить, Тёма, — пытался объяснить Афанасьев, взяв тот странный и лживый тон, который иногда выбирают, говоря с детьми, взрослые, заранее осознающие собственную шаткую и стыдную правоту. — Понимаешь, в их среде бить просто так нельзя. Нужна веская причина! Блатные, ты заметь, Тёма, могут кричать друг на друга ужасными словами: кажется, вот-вот порвут. Но это как бы игра на выдержку. Ударить можно только за настоящую, кровную обиду. А ты приложил его вообще за пустяк. Он же шутил! А теперь он блюёт с любой еды! Я не смог так пояснить твой поступок, чтоб они поняли твою правоту.

— Да на хер мне их понимание вообще, — взбесился Артём, которого переполняла не столько жадность до конской колбасы — хотя и она тоже! — сколько неожиданная, болезненная, жуткая какая-то обида за мать: она там ходит по рынку, собирает ему, сыночку, в подарок съестного на последние рубли, а он будет поганого Ксиву этим кормить!..

— Артём, их много, они могут и убить, ты же знаешь, — шептал Афанасьев, придерживая Артёма за колено, но тут, привлечённый разговором, появился сам Ксива, голый по пояс и очень довольный.

Афанасьев развернулся и встал у него на пути, так чтоб Ксива не мог пройти к нарам Артёма.

— Свой не свой, а на дороге не стой, — сказал Ксива Афанасьеву.

— Я стою на своём месте, Ксива, — очень достойно ответил Афанасьев. — Ты тут дорогу не прокладывал.

— Ты ему передал? — спросил Ксива Афанасьева, покачиваясь из стороны в сторону и насмешливо поглядывая на Артёма. — Пусть все посылки со мной половинит в течение года. У меня на глазах.

— Одну, Ксива, — повторил Афанасьев упрямо, но уже не столь жёстко, как только что отвечал.

— Какую, б..., одну, Афанас! — взвился Ксива, чувствуя, как его сила прирастает, а чужая тает. — Все! Все, Афанас! И мой тебе совет: не лезь много в чужие дела! Ты не вор. Ты фраер, хоть и при своих святцах.

Афанасьев не сдвинулся с места. Ксива ещё покачался из стороны в сторону, отвисшая губа тоже покачивалась; не дождавшись ответа, ушёл.

Артём молчал, глядя куда-то в сторону, наискосок, не видя, куда смотрит, и не понимая, что его там привлекло.

Накопец понял: это была нога Моисея Соломоновича.

Моисей Соломонович лежал, накрывшись покрывалом с головой, но его нога подрагивала так, как у спящего не дрожит.

* * *

Афанасьев с утра где-то бродил — увиделись только на поверке, он кивнул Артёму, тот кивнул в ответ, сразу же не без лёгкой брезгливости вспомнив вчерашнее “Афанас”.

“Афанас, Афанас...” — повторил несколько раз про себя, словно подыскивая рифму.

Морда у Шафербекова была ужасной. Во время поверки он чихнул — и выплюнул зуб. Стоял потом, тихо рыча и прижав ладонь к губам.

Кто-то из фитилей услужливо разыскал зубик и вернул Шафербекову, за что тут же получил удар в лицо.

Артём старался не смотреть в сторону Шафербекова, держась поближе к взводному Крапину и вообще к начальству.

“...Жизнь, как ходики... мотает туда-сюда... — невесело думал Артём, шагая с поверки и глядя в затылок Крапина, одновременно делая усилие, чтоб не обернуться: наверняка Ксива торчал где-нибудь неподалёку со своей поганой, болезненной, беззубой ухмылкой. — ...Мотает меня, а я держусь за ходики обеими руками... скоро слечу кувырком...”

Когда после поверки возвратились в роту, из-под нар за ноги вытаскивали беспризорника.

Встали с Василием Петровичем, как вкопанные, завидев это.

Артёму показалось странным, что пацан никак не сопротивляется и не вопит, он уже изготовился пошутить на этот счёт, даже чуть повернулся к Василию Петровичу, и тут же по лицу старшего товарища понял, что смех не к месту.

Беспризорник был удушен: детский рот криво распахнут, тонкая шея будто надломлена, глаза растарашены... вонь ещё... банка эта слетела с чресел, открыв совсем ещё маленькие и ужасно грязные половые органы.

“Второй за сутки, — быстро подумал Артём. — А если меня так завтра поволокнут? Чёрт, нет, не может быть. Отчего меня?”

Он присел на кровать к Василию Петровичу, растерянный и уставший.

Дневальные чеченцы унесли пацана — за руки, за ноги, — и было видно, что он лёгок, словно пустой внутри.

“Билось сердце и — не бьётся, — думал Артём удивлённо. — Всего-то”.

Некоторое время Василий Петрович искал что-то в мешке, кажется, вовсе не нужное ему... Потом вдруг оставил своё занятие и спросил:

— Артём, а как вы думаете, чем сейчас занимается Иисус Христос? Какие-то у него должны быть дела, нет?

Сглотнув, Артём внимательно посмотрел на Василия Петровича и подумал: “А действительно?.. Чем?”

— Он ведь ночью вернул мне ложку, — добавил Василий Петрович, и Артём сначала подумал, что это всё про Христа идёт речь. — Тоже человек. Вернул сворованную ложку... Или просто ягод ещё хотел.

Артём сидел молча и чуть раскачивался.

— Зато теперь у меня две ложки, Артём, — спокойно завершил свою речь Василий Петрович, хотя по интонации его было понятно, что думает он вовсе не о ложках, а чём-то другом.

Раздался крик Кучеравы: он отчитывал Крапина.

— У тебя беспризорник жил под нарами! Может, у тебя там штаб контры можно организовать? Дисциплина побоку! Служба побоку! Чем ты занят вообще, Крапин? Докладная сегодня пойдёт на тебя! Забирайся пока под нары, изучай обстановку! Потом доложишь, кто там ещё есть!

Кучерава издевался, голос его был полон сарказма.

Крапин молчал.

Василий Петрович толкнул Артёма: мол, надо уходить на улицу, пока сами не попали под раздачу.

Соловецкое небо стало тяжелее и ближе, чайки взмывали вверх как бы с усилием.

Олень Мишка часто подрагивал боками, словно замерзая.

Блэк принюхивался.

Отовсюду веяло тоской и опасностью.

“Надо бы переводиться из этой роты, — думал Артём. — Но куда?”

— Как-то всё неладно, надсадно... И одно за другим, одно за другим... — сказал Василий Петрович, озираясь.

В ожидании своих нарядов они отошли чуть в сторону от толпы, где привычно много матерились и переругивались.

Василий Петрович повздыхал, Артём покивал о своём, стараясь не смотреть на лагерников своей роты: где-то в толпе были его враги.

— Я слышал вчера, как приходил Ксива... — бережно начал Василий Петрович.

— Надо искать другое место обитания, — тут же продолжил Артём, не успев даже удивиться, откуда Василий Петрович догадался о его мыслях. — Какие тут ещё роты есть? Давайте пересчитаем вместе, может, что-то придумается.

Василия Петровича уговаривать не пришлось.

— В тринадцатой вы уже были, — сказал он. — Двенадцатая надоела, из неё вам надо уходить, согласен. Одиннадцатая — рота отрицательного элемента, она же карцер, туда никому не посоветую. Десятая — канцелярские. С вашей очевидной грамотностью там самое место. В девятую вы не попадёте — это так называемая лягавая рота, в ней одни бывшие чекисты из числа рядовых, то есть к управленческой работе в лагере не пригодных, поэтому трудятся они в охране и в надзоре.

Артём кивал: в сущности, он всё это знал, и Василий Петрович знал, что он знает, но разбор помогал успокоиться, расставить всё по порядку и ещё давал, может быть, ложную, но всё-таки надежду: вдруг при перечислении обнаружится незаметная лазейка, о которой случайным образом забыли.

— Восьмая — место для отпетый шпаны, леопарды там живут, вы знаете. Седьмая — артистическая, тоже не худшее место в Соловецкой обители. Вы, случаем, в гимназическом театральном кружке не занимались? А то вам подошли бы несколько классических ролей, — неясно было, шутит Василий Петрович или нет. — Шестая — сторожевая. Там тоже хорошо, но в шестую по приказу Эйхманиса принимают только лиц из бывшего духовенства. А вы ведь и не попович, Артём?

— И даже не Никитич, — отмахнулся тот.

— В пятой — пожарники, — продолжил Василий Петрович, — там вообще прекрасно, но если в артисты ещё можно попасть благодаря таланту, а в канцелярию — за умение, к примеру, правильно считать и красиво писать, то для пожарной службы нужен лишь блат. Или, как тут говорят, кант — везение. Горим мы не так часто, работой они не замучены, всё больше в шашки играют. Блата у нас нет, поэтому дальше побредёши. Четвёртая рота — музыканты соловецких оркестров. Вы не утаили от меня никакой музыкальный талант? Может, вы, Артём, играете на трубе? Нет? И напрасно. Третья рота — чекисты самой высокой марки и служащие ИСО. Так что третью мы вообще не рассматриваем. Вторая — специалисты на ответственных должностях, которые могут себя проявить, скажем, по научной части, — здесь Василий Петрович снова внимательно посмотрел на Артёма, но тот не ответил на его взгляд, тогда он досказал:

— Первая — заключённые из верхов лагерной администрации: старостат, заведующие предприятий и помощники завов. До первой роты надо дорасти... А может, и не надо.

— Всё? — спросил Артём.

— Отчего же, — сказал Василий Петрович. — Есть ещё четырнадцатая — там запретники: заключённые, работающие только в стенах кремля,

чтоб не убежали. Повара, лакеи, конюхи у чекистов. В сущности, их хотели наказать, лишив возможности прогуливаться по соловецкому острову, а сделали им только лучше. Сами сравните: одно дело — на баланах, а другое дело — хвост расчёсывать у комиссарской лошади. Пятнадцатая рота — мастеровые: плотники, столяры, бондари... И есть ещё рота, которая вообще не работает, — и попасть туда легко безо всякого блат, она называется?..

— Кладбище, знаю, — ответил Артём без улыбки. — Соловецкое кладбище.

Лазейка не находилась. По большому счёту, подходила только десятая, канцелярская рота, но Артём никого оттуда не знал, да и с чего б его позвали в столь привилегированное место... Не один он умел в лагере читать книги и считать дроби. Тут и поумней его встречались на каждом шагу.

— Жаль, что я не белогвардеец, их тут сразу берут куда надо, — раздумчиво сказал Артём.

— А кто вы? — в очередной раз поинтересовался Василий Петрович.

— Да никто, — отмахнулся Артём. — Москвич, повеса, читатель книжек — не за что зацепиться.

Василий Петрович вздохнул в том смысле, что да, Артём, зацепиться не за что: дружим-дружим, а про свою жизнь вы так и не рассказали ничего.

По глазам Василия Петровича Артём понял, что на подходе какие-то дурные новости, оглянулся и увидел Ксиву — тот приближался вразвалочку. Возбуждённый, в своём возвращённом с утра пиджаке на голое тело. Чёрные круги под глазами ещё не сошли. На голове — откуда-то взятая инженерная фуражка. Резко поднял руку — Артём чуть трепыхнулся, но Ксива, ещё больше ослабившись, поправил козырёк и спросил:

— Понял всё? У меня на почте свой человек, так что, если начнёшь крутить...

— Он понял всё, — вдруг сказал Василий Петрович.

Ксива осёкся, смерил Василия Петровича взглядом и, вернувшись к Артёму, всё-таки закончил фразу:

— ...начнёшь крутить — тебя самого пустят на конскую колбасу. Конь!

Вслед за Ксивой, метрах в пяти за ним, подошли и встали ещё трое блатных. Они разговаривали о чём-то постороннем, очень уверенные в себе.

“Он каждый час теперь ко мне будет подходить?” — подумал Артём, глядя Ксиве в глаза и ничего не отвечая.

Артём вдруг вспомнил, как однажды в детстве видел человека, перебежавшего реку по льдинам в начале ледохода. Занятие это было пугающее и дерзкое — обвалиться в ледяную воду казалось совсем простым делом. Куда спешил тот человек, Артём не знал или забыл с годами, но точно запомнил свои детские мысли: что он сам, как бы ни восхищались другие пацаны на берегу отвагой и безрассудством бегуна, никогда бы такое повторить не хотел.

И тут он вдруг ощутил себя в той же самой роли, только подневольно, словно его вытолкнули и сказали: “Беги!” — и выбора не оставалось. Только куда бежать: другого-то берега не видно.

Он сейчас стоял на льдине и мог бы сделать прыжок; но не сделал.

Ксива ушёл.

— Да-с, неприятно, — спокойно сказал Василий Петрович через минуту.

“Сглазил меня, — с неожиданной злобой подумал Артём про Василия Петровича, хотя сроду не был суеверен. — Только говорил, как у меня всё складно идёт... Сглазил, старый пёс!”

— Вы куда сегодня? — спросил Василий Петрович.

Артём помолчал, думая, как бы уйти от ответа, но промолчать было бы совсем нехорошо.

— Я в кремле вроде... — сказал он тихо. — Не знаю, что за работа.

— А я по ягоды опять, — сказал Василий Петрович, — Вон мои стоят уже. Пойду.

Уже уходя, оглянулся и добавил:

— Артём, не отчаивайтесь. Бог есть. Он присмотрит за нами, верьте.

До самого обеда работы у Артёма не было никакой.

С ним были Митя Щелкачов и Авдей Сивцев.

Они долго ждали десятника во дворе. Шумела рябина, листва её переливалась и бликовала на солнце, особенно если смотреть через полуприкрытые глаза. Бродил олень Мишка, поднимая голову на шум листвы.

Артём присел на лавочке, нахохлился, прикрыл глаза и пытался если не забыться, то хотя бы согреться на солнышке. Ксива не шёл из головы. К тому же Сивцеву не сиделось на лавочке — он суетился, порываясь пойти и разыскать десятника, только не знал куда.

Видя, что напарник сидит с закрытыми глазами, Сивцев как бы и не обращался к нему напрямую, однако разговор всё равно вёл с учётом того, что Артём слышит его.

— Так вот просидим, ожидаючи, а всё одно виноватыми выйдем... — негромко говорил Сивцев, но сам при этом никуда не шёл, только томил и так угнетённого Артёма.

“Бестолочь, — желчно думал Артём. — Бестолочь крестьянская...”

Не сдержался и спросил, не открывая глаз:

— Поработать, что ли, хочешь?

Сивцев начал ровно с того же места, на котором остановился:

— Дак вот просидим, ожидаючи, а всё одно виноватыми выйдем!

— Ну, иди вон займись чем-нибудь, — почему-то сипло сказал Артём. — Дорожки подмети...

— Не то велели? — быстро и с надеждой спросил Сивцев. Артём сильнее зажмурился, как от боли.

“Бестолочь”, — подумал ещё раз, но уже без злобы почему-то.

Издаваться над Сивцевым не было никакого настроения. Артём вообще не имел подобных склонностей, и настроение было не подходящее для пересмешивания, но самое важное: он и так чувствовал превосходство над этим мужиком... И над Ксивой тоже бы чувствовал, когда б Ксива был один.

“А как славно было бы, — по-детски размышлялся Артём, — когда бы всякий человек был один и отвечал бы только за себя. Так и войны бы никогда не случилось, потому что большая драка возможна, только когда собираются огромные и озлобленные толпы... И здесь бы, на Соловках, кто бы тронул меня? А я бы тем более никого бы не трогал. И был бы мир во всём и всегда...”

Артём всё думал и думал об этом, стараясь, чтоб мысль его двигалась по простой и прямой линии, потому что сам он прекрасно понимал, что, начини обо всём этом размышлять чуть глубже и серьёзнее, и сразу выяснится, что в голове у него полная блажь, наивная и никчёмная.

Митя Щелкачов прогуливался туда-сюда, разглядывая монастырские постройки, грязные, как спины беспризорников, стены, битые, как яйца, купола. Отходил не очень далеко — так, чтоб видеть напарников, всякий раз возвращался, чтоб подтвердить своё присутствие, но Артём всё равно раздражался и на него тоже.

— Сядьте, Митя, — сказал он тихо, когда Щелкачов пришёл в очередной раз, какой-то весь улыбчивый и вдохновлённый, смотреть неприятно. — Сядьте и не вертитеесь! Увидит администрация, засадит в карцер за праздношатание, будете знать, — Артём поймал себя на мысли, что подражает Василию Петровичу, обращаясь на “вы” к человеку много младше самого себя.

— Но мы же не виноваты, — сказал Щелкачов, продолжая улыбаться.

— Виноваты, — повторил Артём, закрыв глаза.

Сивцев, до сих пор стоявший, тоже сел, и Артём вдруг понял, что эти двое его слушаются.

Щелкачов — ладно, он моложе, хотя не намного, лет, может, на пять — разве это срок? Тем более что Щелкачов, судя по всему, был по-настоящему образован, в отличие от Артёма: это как-то сразу чувствовалось по всем его манерам и речи.

А Сивцев был старше лет на пятнадцать, Артём ему почти в сыновья годился, к тому же он, кажется, и сидел подольше, и мужичкой сноровки у него было побольше, и житейского ума погуще... Но и он туда же.

— Я вообще много ошибок совершаю, — вдруг по-мальчишески, как-то совсем беззащитно признался Щелкачов. — Меня уже избили в карантинной роте. Ужасно боюсь, когда бьют. Хорошо, перевели оттуда к вам. Но если б кто-нибудь объяснил, как себя вести. Чего делать не надо.

— Вот ходить не надо, — сказал Артём снова, не открывая глаз.

По молчанию Сивцева и Щелкачова он понял, что его слушают и ждут, что он ещё скажет. Сивцев — с лёгкой крестьянской опаской и стараясь доверять в меру, а Щелкачов — раскрывшись почти настежь.

Тихим и каким-то стыдным знанием понимая, что в нынешнем своём состоянии он не имеет никакого права поучать кого бы то ни было, Артём одновременно будто бы приподнялся над собой.

Поначалу хотел злорадно постращать Щелкачова, но не стал: смешно это и глупо, когда самого пугают и почти запугали...

— Не показывай, что отдыхаешь, — сказал Артём. — Даже если ходишь без дела — делай вид, что при деле. Работай не медленно, но и не быстро. Как дышишь — так и делай, не сбивай дыхания, нигуда не опоздаешь здесь. Не показывай душу. Не показывай характер. Не пытайся быть сильным — лучше будь незаметным. Не груби. Таись. Терпи. Не жалуйся, — Артём говорил с закрытыми глазами, словно бы диктовал или, точнее, — слушал кого-то и повторял за ним.

— Весь хлеб сразу не съдай с утра, я видел, ты съел за завтраком. Оставь на потом: днём поешь, сил будет больше. Оголодаешь — захочется своровать. Начнёшь воровать — перестанешь себя уважать, хотя, может, это не беда. Хуже, если поймают. Поймают — могут убить. Чаек ловить и жрать нельзя, знаешь об этом? Хотя хочется. Сегодня, когда шли на утреннее построение, Крапин погонял дрыном роту. Тебе чуть не попало, я видел. Хорошо, если попадут по спине — спина заживёт; хуже, когда по голове. Как только похолодает — носи шапку и что-нибудь мягкое подкладывай под шапку. Ударят по голове — раны не будет. Летом шапку не носи: обязательно снимешь и повесишь куда-нибудь на сук, и её своруют. Или забудешь. Но вообще скорее своруют, чем забудешь. Ты папиросы носишь в портсигаре — портсигар убери, а то отнимут. Странно, что не отняли в карантинной.

— Я не показывал, — быстро сказал Митя.

— Лучше вообще кури махорку, — продолжил Артём, не отвлекаясь, — и носи её не в кисете — кисет тоже отнимут, — а в карманах.

Учить оказалось необычайно приятно. Артём и сам не мог догадаться, когда и как он всё это понял, но вот понял же и чувствовал, что говорит вещи нужные.

Разыгрывая из себя старожилу, Артём не просто наполнялся значением — он будто прибавлял в силе, и сам понемногу, в который раз уже, начинал верить в то, что он цепок, хваток и со всем справится.

Замолчав на миг, Артём услышал, что изменилось наполнение тишины — тишина стала как-то гуще и напряжённее.

Открыл один глаз — так и есть, докривлялся.

Тихо подошёл Крапин и слушал Артёма.

Артём открыл второй глаз и медленно встал.

— Отойдём на словечко, — сказал Крапин непривычным голосом: уставший, спокойный — никакой не взводный, а просто человек.

— Ты Сивцева не учи. Тебе его учить — вред ему принести. Он и так правильно живёт. А вот студента правильно учишь, ему надо, — сказал Крапин, едва они отошли на несколько шагов, и тут же, безо всякого перехода, заговорил о другом:

— Кучерава меня уберёт, а кто придёт мне на замену, не знаю. Я устроил, чтоб у тебя целый месяц были наряды в кремле... И вот у Щелкачова тоже. Всё, чем мог. Другого блага у меня нет. Дальше сам разберёшься, — Крапин говорил быстро, отрывочно, словно ему было в новинку так себя вести. — А блатных я отправил на баланы. И Шафербекова, и Ксиву,

и всю эту падлоту. Авось утонут там. Но если не утонут — ты кружись, как умеешь. В тюрьме тоже есть чему поучиться. Тебе надо сточить свои углы. Шар катится — по жизни надо катиться. Всё.

Крапин ушёл, Артём потоптался на месте, желая успокоиться, но не смог и вернулся к Сивцеву и Щелкачову с улыбкой на лице, довольный и словно бы отогретый изнутри.

Ничего вроде не случилось особенного: и так было ясно с недавнего времени, что Крапин к нему относится неплохо, но тут он прямо об этом заговорил.

“И вообще, он плохую новость принёс: его переведут”, — пытался убедить себя Артём не радоваться так сильно и всё равно не мог.

— Рублём, что ли, одарил? — спросил Сивцев улыбающегося Артёма. Не переставая улыбаться, Артём подумал, что напрасно он так поверил в послушность Сивцева — сивцевское крестьянское, лукавое, себе на уме было сильнее чего бы то ни было.

— Сказал, что закон в газете напечатан: всем крестьянского сословия накинуть по году, потому что они работать умеют и любят, а горожан распустить, так как от них никакого толку. Ты какого сословия, Авдей? — спросил Артём, веселя себя.

Минутку Сивцев смотрел внимательно и натужно, а потом недовольно отмахнулся:

— Дурацкая шутка, ни к чему.

— А я поверил! — засмеялся Щелкачов. — Поверил и обрадовался! Вот стыд-то!

* * *

Десятник Сорокин появился перед самым обедом и действительно начал орать:

— Чего сидим? Чего спать не легли прямо тута?

Сивцев встал, Щелкачов вскочил, зато Артём так и сидел, глядя на десятника снизу вверх и чуть шурясь.

— Ноги отнялись? — спросил Сорокин, слетая со своего поганого хрипа почти на фальцет.

— А не ори, а то я доложу Кучераве, что оставил нас без работы, — ответил Артём, вставая.

Сорокин осёкся.

— У нас ведь обед сейчас? — спросил риторически Артём, попутно чувствуя, как гадостно пахнет Сорокин, и немедленно, лёгкой походочкой, отправился в расположение роты.

Через полминуты Артёма нагнали тени Сивцева и Щелкачова.

— Чтоб после обеда тут были, йодом в рот мазанные! — крикнул Сорокин вслед.

— Будет исполнено! — ответил Артём не оборачиваясь и эдак сделал ручкой... краем глаза при этом заметив, что Щелкачов смотрит на него с натуральным восхищением.

“Обыграл десятника сиюминутно, но наверняка он отыграется десятикратно, — с улыбкой отчитался себе Артём и сделал привычный уже в последние дни вывод: — Ой, дурак. Дура-а-ак”.

— Я вчера слышал, как к вам подходил этот блатной, а вы не напугались, — сказал Щелкачов.

Артём ничего не ответил.

Раз Ксива на баланах, то его, как минимум, не будет на обеде.

“Не то Митя имел бы все шансы немедленно во мне разочароваться”, — подумал Артём с невесёлой иронией.

— А я бы им сразу отдал посылку, — сказал Щелкачов, смеясь даже чуть более радостно, чем следовало. — Всё бы отдал сразу!

Когда вышли после обеда, Сорокина опять не было; тут даже Артём начал волноваться, хотя виду не подавал. Однако на лавочке больше не стал сидеть — встал посередь монастырского двора, нарочито расслабленный.

Прошёл куда-то поп в красноармейском шлеме. Хлыщ в лакированных башмаках и с тростью — явно из артистической роты. “Или из журнала”, — прикинул Артём. Под конвоем куда-то провели трёх леопардов — худых, грязных, морды в коросте, смотреть гадко, всё вдохновение исправили.

Сивцев заприметил какого-то своего знакомого, пошёл у него спрашивать, не видел ли он десятника Сорокина... Щелкачов опять засмотрелся на архитектуру... Артём увидел оленёнка — захотел погреться о ласковое и пахучее тепло.

Так получилось, что он направился к оленке одновременно с женщиной, не замечая её. Это была Галина из ИСО, она несла сахар в руке. Когда Артём её, шедшую с другой стороны, справа, увидел, было уже неловко делать вид, что он идёт в другую сторону. Они подошли к оленке почти разом, и это обстоятельство вынудило Артёма сказать: “Здравствуйте!”

Вообще, он не имел никакого права с ней здороваться, как и все заключённые двенадцатой роты не могли обращаться к начальству напрямую; но, может, она не знала, откуда он. Вдруг он пожарник из пятой роты...

Галина была в гимнастёрке и в юбке. Отлично начищенные сапожки на каблучках.

Под гимнастёркой была очень заметна крупная грудь.

— Вы со мной здороваетесь или с оленем? — спросила Галина строго и быстро посмотрела на Артёма.

— Мы с вами виделись, — сказал Артём, расчёсывая оленя Мишку в одном месте, словно у того там зудело.

— Да? — переспросила Галина просто. — Я на вас не обратила внимания.

“Сука какая”, — подумал Артём с неизъяснимой нежностью.

Она скормила оленю сахар и ушла, даже не кивнув Артёму.

Он не мог отвести от неё глаз. Кажется, Галина это осознала — походка её дразнилась.

Олень сделал шаг вперед, видимо, недовольный тем, что Артём так и чешет его в одном месте.

— А сахарку я бы тоже съел, — негромко сказал Артём, чтоб как-то сбить тяжёлое и душное возбуждение.

Представил, как ест сахар с тёплой руки, видя линии на ладони, запястье и слыша чистый и еле ощутимый запах женского пота. Если потом лизнуть ладонь в том месте, где лежал сахар, она будет сладкой.

От сахара отвлек Сорокин; на этот раз он не орал, но всё приглядывался к Артёму.

— Весь день ненаряженные просидели, — нудил он. — Не ломит в костях-то?

— Отчего? У нас была работа, — не сдержался Артём: на него напал задорный стих. — Гражданин Эйхманис проходил сегодня, велел монастырских чаек сосчитать.

Сорокин на секунду поперхнулся, но потом понял, что его дурят.

— Шутишь всё? Я тебя запомню теперь, — сказал он.

Что-то ему, впрочем, мешало раздавить Артёма немедленно.

Работа им досталась не самая тяжёлая, но грязная: разгрести свалку мусора у больницы.

Больничка — трёхэтажное здание неподалёку от ворот кремля.

Возле больнички стояло несколько жёлтых монашеских диванов; сами больные, видимо, по указаниям врачей вынесли и грелись на солнце, подставляя цинготные ноги. Почему-то чайкам всё это особенно не нравилось.

“После такой работы она тебя точно не стала бы сахаром кормить”, — легкомысленно размышлял Артём, стараясь не вглядываться в гнойные бинты и пропахшее полудохлой человечинной тряпьё.

Грязь они грузили в тачку, которую поочерёдно отвозили за ворота то Митя, то Сивцев, то Артём: с тачкой было веселее всего — прогулка всё-таки, ветерок.

Разворачивая очередную тачку с мусором, Артём вдруг заметил женские лица в окнах третьего этажа — и засмотрелся.

Слугнули чайки: они носились за каждой тачкой, чуть взбудораженные запахом встревоженной мерзости, — им, верно, казалось, что от них могут увести что-то съестное.

Пришлось уходить. Отдал на прощание молодым женщинам честь двумя пальцами. Те засмеялись.

— А как бы ты доложил обо мне Кучераве? — спросил вдруг Сорокин у Артёма, когда тот, не очень торопясь, возвращался с пустой тачкой. Наверное, всё это время обдумывал Артёмову угрозу настучать ротному. — Вам же, чертям, запрещено обращаться к начальству напрямую?

“Наверное, какими-то своими гнусными делами занимался до обеда, — догадался Артём. — И трясётся теперь”.

— А я письменно, — сказал Артём, стараясь, впрочем, говорить так, чтоб было понятно: он не всерьёз.

— Сгною, — сказал ему Сорокин вслед, но не очень уверенно.

“Надо же, — думал Артём. — Больничные отходы вожу, а вонь от Сорокина всё равно сильнее. Неужели его кто-нибудь может любить? Мать? Жена? Дети? Бог, наконец?”

* * *

Вечер близился, и возвращались мысли о Ксиве. Артём поймал себя на том, что подробно представляет, как Ксива оскользнулся и ушёл на дно... Начал выныривать — и головой о балан с острым сучком, прямо так на сук черепушку и нанизал...

Или привычно надерзил десятнику, а тот не рассчитал удара и так ударил Ксиву по затылку, что у того отбило память и рассудок. Ходит теперь Ксива, слони до пупка, никого не узнаёт...

...Или блатные подбили Ксиву *сделать плеть*, такое тоже случалось. Но конвой быстро раскусил их намерения и при попытке к бегству... Артём явственно видел Ксиву, которому пуля попала, к примеру, в позвоночник, и он лежит, хлопает глазами, не может пошевелиться.

“Ах, какое счастье!” — думал Артём.

Потом отмахнулся сам от себя: какая всё-таки дурь! Дурь какая!

Попробовал рассуждать всерьёз: “Ну, не убивают же меня. Пока придёт посылка — придумаю что-нибудь. А может, и отдать часть? И что ты злишься на Василия Петровича и Афанасьева? Им что, умереть за тебя? Они как-то выпутываются. И ты учишь. Крапин же сказал: учишь. Вот и учишь”.

В роте он столкнулся с Афанасьевым: тот улыбнулся Артёму, и Артём так искренне обрадовался, что едва не обнял поэта, даже руку протянул, но ограничился тем, что похлопал Афанасьева по плечу.

— На самом деле блатные заплатили Кучераве, чтобы убрал Крапина, — рассказывал через минуту Афанасьев последние новости Артёму. — А что Кучерава? У него баба в административной части, такая, мля, страшная, как моя душа с бодуна. Ему нужны деньги на неё: её ж надо как-то украшать. Он за деньги что угодно сделает. А блатных Крапин замучил — ты сам видел. Они сначала хотели Крапина на пику посадить, но потом решили, что проще с Кучеравой договориться.

Афанасьев взял себя за чуб, улыбаясь.

— Так кто взводный теперь? — спросил Артём.

— Как кто? — удивился Афанасьев. — Бурцев исполняет обязанности. Крапин временно отстранён. Но уже не вернётся, конечно. Переведут куда-нибудь.

— За беспризорника? — удивлялся Артём.

— Да ладно, — смеялся Афанасьев. — Думаю, можно было бы под нарами хоть десять дохлых леопардов найти, и ничего бы не случилось... Хотя нет, конечно: убийство прямо в роте — тоже не шутка. В общем, думаю, Кучерава правильно всё описал в своих донесениях начальству. Главное, ты ж понимаешь, описать как надо.

— А Эйхманис что? — спрашивал Артём.

— А ты вообще часто Эйхманиса видишь? — смеялся Афанасьев. — Он своими питомниками занимается, охотой, в театр ходит... Он во всей этой мутотени разбираться не станет, какое ему дело до одного из взводных!

— А почему Бурцев?

— Кучерава — хитрый, — пояснял Афанасьев. — Хотя и убрал Крапина из-за блатных, один на один с блатными оставаться не хочет: если они возьмут в роту верх, ему самому трудно будет. Вот и организует себе поддержку в лице Бурцева.

Артём задавал вопрос за вопросом, сам думая при этом: “Вот собачья жизнь! Я интересовался всегда куда более важными вещами: что за книжка вышла у Горького или какая красивая девушка спешит по Никитской, не нагнать ли? А ещё надо найти последний сборник Бальмонта... Там мать что-то творожное запекает, пойду посмотрю! Или вот: говорят, появился некто Пильняк — и всё не читан... а тут Крапин! Тут какой-то, чёрт его, Бурцев! Какое это имеет значение?”

А ведь понятно, отчего нынче Сорокин такой смиренный, — сам себя оборвал Артём. — Взводного сняли, надо поскромней себя вести, пока шум не утихнет... А его носило где-то полдня...”

Афанасьев куда-то убрёл, зато появился Василий Петрович с ягодами и с той же темой:

— А вы заметили, как наш генеральский денщик с самого утра крутится вокруг Бурцева? — еле слышно засмеялся он.

Бывший генеральский денщик повадками был похож на генерала: хоть и без аристократической стати, зато помпезный, надутый, за что его прозвали Самоваром.

— Самовар-то? — в тон Василию Петровичу засмеялся Артём. — А и правда!

— И наш Мстислав не против, — хоть и смеясь, но с некоторой горечью говорил Василий Петрович, угощая Артёма брусникой. — Не довелось на воле побыть генералом, так хоть на Соловках погенеральствует власть. Кушайте бруснику. Говорят, она здесь до ноября идёт, — и посмотрел на Артёма со значением: мол, зря вы всё-таки сбежали от такого благословенного наряда.

Увидев, как возвращается их сосед, Василий Петрович негромко спросил:

— Вы с Афанасьевым всё? Неудача ещё по следу идёт за вами — не обольщайтесь раньше времени.

Артём несколько даже панибратски похлопал Василия Петровича по колену: “Хор-ро-шо! Всё хорошо!”

Василий Петрович невесело покивал головой: “Ну-ну. Ну-ну-ну”.

Брусника кислила.

“Сахарку бы”, — ещё раз подумал Артём, жмурясь. Плоть его звенела и требовала жизни.

* * *

Артём и не видел, когда вернулся Ксива, — на вечерней поверке ушедшего на баланы наряда ещё не было.

Однако утром, сколько Артём ни мечтал, Ксива образовался-таки живой, хоть и наглядно замудоханный работой, к тому же приболевший: говорил он в нос и так трудно шмыгал соплями, словно они весили по полкило.

— Целый день ждал: посылки всё нет, а здоровье моё всё хуже, — процедил Ксива, поймав Артёма, шедшего с чистой миской к своим нарам, за рубаху. — Шинель отдай, — сказал Ксива.

— А вот хер тебе, — ответил Артём. Так как он держал миску в правой руке, этой самой миской и смазал Ксиву по лбу — получилось звонко и весело.

Ксива был не один — на Артёма бросились ещё несколько блатных, он, словно играя, рванул вбок, в другой, зачем-то наискосок прыгнул к своим нарам, как будто у него там лежал под шинелью заряженный револьвер.

Но не было никакого револьвера, и бежать было бессмысленно.

Понимая это, Артём всё равно улыбался и, бросая левой рукой под ноги одному из блатных табуретку, одновременно успел заметить Митю Щелкачова, поднявшегося на нарах, и готовившегося прыгнуть со своего места Афанасева, — но всё-таки не прыгающего, — и Василия Петровича, пока ещё не понимающего, что предпринять, и Моисея Соломоновича, открывшего рот так, словно он хотел запеть, и даже Самовара, с необычайной строгостью в лице на всякий случай бросившегося остеречь от разора нары Бурцева.

Самого Бурцева Артём не видел, но именно он поймал Артёма за шиворот. Хорошо ещё, что Артём его сразу опознал, а то досталось бы и Бурцеву миской по бледной щеке.

— В чём дело? — крикнул Бурцев. — Что за танцы? Быстро на место!

— Построение возле нар! — закричал дневальный Хасаев. — Построение возле нар!

В роту быстро входили Кучерава, несколько чинов из ИСО, красноармейцы надзорной роты. Начинаясь шмон.

Лазили под нарами, перерывали вещевые мешки, выворачивали наизнанку одежду.

— Начальник, подкладку-то зачем рвать?! — вскрикивали в соседнем взводе.

Кому-то дали в зубы. Кто-то под шумок норовил порыться в своих вещах, перепрятать запретное, его ловили за ногу, тянули вниз с нар, учили сапогом по бокам.

Тяжело дыша, лихорадочно соображая, Артём быстро посматривал то в сторону блатных, то почему-то на Бурцева, с очень серьёзным видом следовавшего за Кучеравой и время от времени забирающегося в тряпки тех людей, с которыми уже несколько месяцев спал рядом.

Сорокин тоже был здесь и суетился, как и остальные, хотя это вообще была не его забота.

“Зарежут меня сегодня или не нарежут?” — спросил себя Артём и не без удовлетворения заметил, что отчего-то не боится.

“Ещё бы тебе бояться, — ответил сам себе. — Тебя ж не режут. Стоишь под охраной красноармейцев... Я посмотрю на тебя, когда действительно резать начнут... Хоть бы шмон продолжался подольше, до самого вечера. А с утра — новый шмон...”

Понемногу очередь дошла и до Артёма, он даже не смотрел, что там у него ищут: вещи его были все наперечёт, добра пока не нажил.

— Чей мешок? — спросил красноармеец откуда-то сверху; Артём в это время разглядывал ботинки Бурцева. Для смазки обуви комсостав мог пользоваться бочкой рыбьего жира, стоящей возле ИСО. Бурцеву, как исполняющему обязанности, бочка была не положена, но он явно ею уже попользовался.

— Кешер чей? — громко повторил Кучерава.

Бурцев толкнул Артёма в грудь:

— Заснул?

Оглянувшись, Артём увидел, что красноармеец протягивает сверху колоду карт.

Василий Петрович сделал шаг вбок.

Артём почему-то решил, что карты подают ему, и, не подумав, зачем он это делает, взял их, хотя колоду уже собирался принять в свои волосатые пальцы Кучерава.

Несколько секунд Артём держал святцы в руках, машинально сообразив, что серп и молот, изображённый на верхней карте, означает туза, а не безтищания нарисованный красноармеец, лежащий под тузом, был валетом.

Бурцев выхватил у Артёма колоду и передал Кучераве, несколько карт рассыпалось.

— Подбери, — сказал Бурцев.

— В карцер пойдёшь, — пригрозил Кучерава.

— Это не мои, — Артём стоял, улыбаясь.

— Ага, мои, — согласился Кучерава. — Только я их в твоём кешере храню.

Десятник Сорокин, дневальный чеченец и стоявшие поблизости красноармейцы засмеялись.

— Подбери, — повторил Бурцев.

— Пошёл бы ты в м...у кобылью, поручик, — раздельно сказал Артём, взбешённый и растерянный одновременно.

Первым Артёма ударил Сорокин — у того всё было готово к тому, чтоб похватиться. Удар был так себе — с замахом, но глупый.

Подсуетился чеченец Хасаев, схватил сзади Артёма под руки, пытаясь удержать: бейте, кому надо? Артём с размаху боднул затылком назад — попал дневальному куда-то в щёку...

Потом всё закрутилось втрое быстрее: Артёма больно, точно и обидно ударил Бурцев в лицо — чеченец в это мгновение подслабил хватку, и Артём ответил Бурцеву таким же точным и обидным снизу, с подвывертом, чтоб наверняка...

...дальше уже били все подряд, даже Кучерава, кажется, постарался...

Артём, вдруг поняв, что могут и покалечить, постарался упасть, свертеться, вкрутиться в грязные полы, хотя бы голову убрать под нары, но его вытягивали за ноги... Несколько раз открывал глаза, видел сапоги, ботинки, чьи-то руки, снова зажмуривался, терпел, не кричал, старался уберечься... пока не угодило под дых — сбило дыхание, пустило мелко покрошенные звёзды во весь безвоздушный и чёрный небосвод, а следом тяжёлым носком попало ровно в висок.

“Вот как. Вот как. Вот как...” — повторял Артём быстро, камнем уходя на дно.

* * *

Артём, как и все остальные больные и покалеченные, лежал на монастырском диване с высокой спинкой. Лежать было не очень удобно, но мягко: на каждом диване имелся матрац, набитый соломой.

Очнулся он ещё по дороге.

“Неужели хоронить несут? — подумал, встрепенувшись. — Убили и тащат хоронить?”

Вся морда была в кровавой каше, в грудь словно кол забили, рот съехал куда-то набок и слипся, в виске каждую секунду тикало и ужасно отдавало в глаз. Глаза тоже не открывались. В виске пульсировало так, что казалось: голова расколота, и мозг вываливается понемногу, как горячая каша из опрокинутой миски.

Артём поворочал языком во рту, нашёл зубы, даже сумел удивиться: зубы есть, поди ж ты, могло бы вообще не быть... зато губы словно зашили. Понемногу смочил их слюной — разошлись, и ещё сильнее почувствовал, как-кая огромная борода на лице — кровавая, шершавая борода.

По крику чаек догадался — он на улице. По голосам: его несут дневальные чеченцы.

Подташнивало и хотелось пить.

— Это кто? Опять битый? — раздался голос. Голос принадлежал жителю Азии или Кавказа.

— Нет, доктор Али, он упал, — ответил дневальный так огорчённо, словно говорил про ребёнка.

— С дерева? — спросил Али. По усталости, с которой была произнесена эта шутка, Артём понял, что врач повторял её в сотый раз.

— Нет, — ответил дневальный очень серьёзно. — С земли, — и цокнул языком.

Артёма уложили в приёмном покое, долго разглядывали и трогали везде; это его даже начало успокаивать — хоть кто-то заботится о нём.

Обнаружили рваную рану на виске, множественные ушибы, доктор Али высказал подозрение, что имеются трещина в ребре и сотрясение мозга.

Дали стакан спирта, Артём, кривясь, выпил, и ему сразу же зашили висок, отмыв только одну часть башки, и то вокруг раны. Али работал быст-

ро — Артём терпел, терпел, только хотел разорваться, а ему уже командуют: подьём и проваливай.

Встал — и стошнило; хорошо, увидел раковину, туда наплевал пшёнки с капустой; всё это погано воняло спиртом.

Василий Петрович принёс вещи Артёма. Когда Артём брёл по коридору в общую палату, Василий Петрович окликнул его и поднял мешок вверх, показывая жестом, что сдаст вещи врачам.

— Святцы вернули? — разлепив губы, нашёл в себе силы пошутить Артём, но Василий Петрович не услышал.

Повторять вопрос Артём не стал: от собственного голоса он снова едва не потерял сознание.

В первый день больше ничего не лечили, только заставили помыться в большой ванной на первом этаже, полной едва тёплой водой. Артём там чуть не утонул, мыло не смыл толком, вылез поскорее наружу; лицо — и то забыл отмыть; дальше не помнил ничего...

...Делавшая обход больных пожилая медсестра в белом халате и косынке дала ему градусник и лёд — приложить к виску.

Вернулась за градусником через полчаса, Артём успел поспать за это время. Лёд под виском растаял, а сон был вязкий, тугой, душный, укачивающий.

— Что у меня там? — спросил Артём, глядя на градусник.

— Температура, — ответила медсестра.

— Высокая? — спросил Артём. У него всё время спалились то глаза, то рот. В виске густая, похожая на пиявку, толкалась кровь.

— Да.

Он снова заснул.

Потом лежал и трогал рукою высокую деревянную спинку дивана — формой она напоминала волну. Артём сразу вспомнил, что похожий диван был в его детстве, стоял в гостевой комнате. Любимое место для игр — по самой кромке диванной спинки Артём водил караваны: маленькую игрушечную лошадь и трёх разномастных солдат. Вся эта компания шла будто бы по горе и иногда теряла кого-то: то лупоглазого гренадёра, то стрелка с отломанным копьём, то римского легионера. Почему-то всегда выживала лошадь.

Мысли, которые пришли Артёму в голову под вечер, были неожиданны.

“Разве для этого мы делали революцию? — счищая ногтями со своей груди присохшее мыло, думал он, хотя ни в какой революции никогда не участвовал. — Для этого? Чтоб каэр Бурцев бил меня по лицу? Эта недобитая белогвардейская гнида? Эти чеченцы — за что они сидят? Наверняка грызлись против советской власти, собаки! А Сорокин — вообще натуральный людоед! Почему революция не убила их всех? Почему они смеют бить меня?”

Одними и теми же словами Артём думал об этом очень долго, быть может, час или больше. Он дошёл до того, что сумрачно мечтал, как напишет и доложит в администрацию обо всём. О чём таком он может доложить, Артём не знал, но ему до слёз, по-детски хотелось мести: так сладостно было представлять, что Кучераву, Сорокина, Бурцева, дневальных — всех уводят, и Ксиву тоже, и Шафербекова.

На Соловках называли расстрел по-всякому. Одни говорили: “уводят налево”. Другие — “под размах”. Третьи — “отправить на Луну”. Четвёртые — “в шестнадцатую роту”. Впрочем, “отправкой в шестнадцатую роту” называли любую смерть — и по болезни, и самоубийство или что-нибудь другое.

Артём очень сильным чувством, где смешивались горячая ярость и нестерпимая жалость к самому себе, желал всем им смерти и мысленно отдавал команды: “Кучерава? Под размах!” — и Кучерава начинал рыдать, растирая по небритой морде слёзы. “Сорокин? Налево!” — и от Сорокина начинает пахнуть ещё сильнее, ещё гаже, и он хватается за нары, а его тащат на улицу. “Бурцев? На Луну!” — и видел, как Бурцев бледнеет и вдруг кричит: “За что? В чём дело? Какая, к чёрту, Луна!” — но его не слушают.

Неожиданно Артём вспомнил роман Жюль Верна “С Земли на Луну”.

“Постой, как же он назывался полностью? — спросил себя Артём и, на секунду замешкавшись, вспомнил: “С Земли на Луну прямым путём за 97 часов 20 минут”.

“Есть ли здесь, на Соловках, хотя бы ещё один человек, который читал эту книгу?” — думал Артём, воспринимая, естественно, знание о Жюле Верне как своё очевидное и неоспоримое превосходство. По сути, одного этого знания вполне хватило бы, чтобы Артёма немедленно выпустили отсюда и уж тем более не позволяли бить его перед всей ротой! За чужие, подброшенные ему карты!

“А ведь это Афанасьев мне подкинул!” — понял вдруг Артём так остро, что снова отдалось в висок, а оттуда — в глаз.

Тихо подошёл, судя по одеяниям, бывший священник и попросил:

— А нет ли хлебушка у вас?

— Чего? — не понял Артём.

— Хлебушка, — ещё раз жалостливо попросил священник. Поверх рысы, несмотря на жару, на нём была надета женская кофта.

— Нет у меня ничего, — огрызнулся Артём и с головой спрятался под покрывало.

“Афанасьев! — повторял про себя Артём в темноте. — А кто же ещё? Ну, и мразь же этот поэт. Мразь. Какая мразь! Я же убью эту мразь!”

Артёма кто-то потрогал прямо по голове — через покрывало. Он, чертыхнувшись, вылез наружу и снова увидел священника: тот и не уходил.

— А сахарку? — спросил он. — Сахарку нет?

— Уйди! — крикнул Артём, — Уйди, поп! — и снова влез под одеяло, успев заметить, как священник всплеснул руками — несколько, впрочем, наигранно — и начал мелко креститься.

— Да уйди же ты! — кто-то ещё погнался побирушку, но Артём уже не смотрел в его сторону.

До самого ужина он не вылезал из-под покрывала. У него была истерика. В темноте, в запахе своего тела, своей подсохшей крови, Артёма охватил страх: теперь ему стало казаться, что за ним должны прийти.

“А как иначе? — думал он. — Ты ударил командира взвода! У тебя нашли запрещённые карты! Ты устроил драку с руководством. Тебя запросто могут расстрелять!.. Господи ты Боже мой! — шептал Артём, почти плача и готовый закричать в голос. — Мамочка! Они же убьют меня! Выведут за ворота и застрелят. И засыпят землёй. И меня начнут черви жрать. Вот тут, где соски. Вот тут, где живот. Вот тут, где лицо, — Артём ощущал себя всего: уши, губы, пах, ноги. — И всё из-за этой мрази! Из-за Афанасьева! Из-за этого стихослагателя! Шулера! Надо было удавить его! Убить его ночью! А если я доложу, что он сдал бракованные веники, — за это меня могут простить? Но ведь я сам их — я сам их сдал вместе с ним! Меня ещё сильнее накажут!.. А как, как ещё сильнее? Что может быть сильнее, чем расстрел, идиот? Проклятый идиот!.. Мамочка! — повторял он и сжимал челюсти изо всех сил, чтоб смолчать, не привлечь ничего внимания. — Мамочка! Спасите меня кто-нибудь!” — и снова трогал себя.

— Э! Ты там дровичь, что ли? — спросил кто-то и стянул покрывало: Артём попытался поймать ткань зубами и не смог и поэтому вжался в спинку дивана.

— О, — сказал человек, стянувший покрывало, судя по виду, из блатных, — ну, и мурло. Ты б отгёр мурло-то. Весь в кровяке... Есть покурить? — Нет, — даже не сказал, а выдохнул Артём.

Больные оживились, начали привставать со своих диванов: раздавалось громыханье тазов с едой.

Артём — и тот вдруг привстал, облизывая губы. Медсестра, что ставила градусник, принесла мешок Артёма: он порылся, нашёл миску.

Догадался, что миску Василий Петрович положил, — Артём точно не клал, он её кинул на свои нары, когда скомандовали построение на шмон. Зачем-то поискал святцы...

На ужин принесли винегрет из картофеля, свеклы, моркови, капусты, трески и щённую кашу. Всё было нестерпимо вкусное.

Сердьясь на пульсирующий висок, Артём ел, замирая от восторга, который странным образом оказался даже сильнее, чем только что обуявший его страх смерти. Он чувствовал на языке тугую свекольную плоть, хрусткую ка-

пустную, распадающуюся картофельную — всё это мешал со вкусом шён-ки, закусывал хлебом; голова кружилась, словно от влюблённости и близости, и мелко крошилась кровавая борода.

Больной на кровати, стоявшей справа, всё время косился на Артёма, и тому, естественно, казалось, что любопытствуют к его обеду, и он зажмурился, чтоб острее ощутить рыбе тело трески и привкус прелой моркови.

— Я помню, вы за меня заступились, — сказал больной, так и не дождавшись ответного взгляда Артёма.

Артём скосился в сторону голоса. Ба, да это Филиппок! Артём даже искал поблизости пенёк — с письмом Сорокина: а вдруг так и стоит под кроватью, ждёт, когда у Филиппка заживёт нога.

— Я? — удивился Артём словам Филиппа: своё заступничество он забыл напрочь. — Не было такого, — сказал он.

И отвернулся.

* * *

Ночь проспал, будто неподъёмной землёй засыпанный. Даже ребро не мешало — оттого, что, как лёг плашмя, положив сверху на голову подушку, так и пролежал.

Клопов и вшей в больничке не водилось.

“Так странно, — размышлял утром Артём, бережно трогая нитки на виске. — Все эти месяцы ем мало, постоянно на тяжёлой работе. Когда грузил в порту — сутками на сырых сквозняках. Когда с баланами — в воде с утра до вечера, и не простужался. Не болел вообще! Даже соплей не было”.

Артём, правда, не чувствовал жара, и даже напротив, после обеда ему стало лучше, он начал успокаиваться, тем более что за ним так никто и не пришёл вчера.

Ну, висок прошили, глаз заплыл, лицо распухло, в ребре отдавало, лежать на левом боку было совсем нельзя, ещё подташнивало, но всё терпимо. Крови было много, но вся натекла с виска да из носа, а нос тоже стоял на месте, не сломали.

Артём решил пока об этом никому не говорить, а пофилонить, сколько сможет.

Спрятавшись под своё покрывало, тихо потягивался и в путаных, полусонных мыслях перебирал всё то прекрасное, душистое, вкусное, что удалось ему отведать в последнее время.

Сухофрукты, плитка шоколада, конская колбаса были в посылке матери... Шоколад тоже пропах колбасой, но это его нисколько не испортило. Сухофрукты из второй посылки, по совету Василия Петровича, замочили в кипятке и пили, истекая сладостным потом.

Потом шпик, сметанка с лучком — о, каким это оказалось блаженством. Вот только Бурцев... там был Бурцев. К лешему Бурцева.

Ещё было варёное яйцо.

...А где оно было? Да не было его нигде, оно приснилось однажды, дня три назад. Ах, какое было яйцо во сне! Из такого яйца наверняка бы вылупился золотой петушок.

Вчерашний винегрет...

В третий раз замерили температуру — и опять записали в журнал тридцать девять и два.

На завтрак принесли две воблы, жаренные в тюленьем жире, и картошку в мундире, правда, только одну. Но снова были радость, и очарование, и восхищённое головокружение.

“Дома ты это есть бы не стал, выбросил бы эту воблу в окно”, — пытался увещевать себя Артём, но сам же себе старался не верить.

Освоившись, Артём начал изучать ближних соседей и обстановку.

Во всю стену огромной больничной палаты была не покрашенная, как в большинстве других помещений монастыря, фреска.

Фреска изображала больных, но среди них был, кажется, Христос. Он поддерживал одного из хворых — седобородого старика.

Артём был не очень сведущ в библейских историях и этот сюжет не знал. С минуту он любовался фреской, потом отвлёкся на людей.

Кроме юродивого Филиппа и батюшки-побирушки, то и дело вышагивающего меж монастырских диванов, почти все больные лагерники показались Артёму схожими, как сушёная вобла.

Он помнил, что вчера, да, подходил за табачком какой-то блатной, но, озирая сейчас палату, Артём не мог его узнать, напротив, готов был подумать почти на любого, что это и был он.

Бережно приподнявшись на руках — в рёбрах всё-таки болело, — Артём присел, стараясь не сутулиться, и заглянул, что там, с другой стороны высокой диванной спинки.

Там стоял такой же диван, и на диване сидел батюшка Иоанн — тот самый владычка, который угощал Василия Петровича сметанкой с лучком.

Батюшка подшивал рясу.

Они встретились глазами.

— Доброе утро, владычка, — сказал Артём несколько неожиданно для самого себя.

— Как твоё здоровье, милый? — спросил владычка просто и ласково. — Я вижу, тебя тоже подшили!

Артём не нашёл тех слов, которые показались бы ему подходящими, и просто улыбнулся, пожав плечами: всё ничего вроде бы, подшили, да.

— А с батюшкой и не надо искать особых слов, — сказал Иоанн, перекусывая нить. — Которые на сердце лежат — самые верхние, — их и бери. Особые слова — часто от лукавого, — и владычка улыбнулся.

“Вот как...” — подумал Артём с удивлением и потрогал нитки на виске.

Почему-то это было почти приятным.

— А как же стихи? — спросил он. — Стихи — это всегда особые слова.

— Думаешь, милый? — спросил батюшка. — А я думаю, что лучшие стихи — это когда как раз с верха сердца взятые. А вот когда только особые слова выбираются, тогда и стихи напрасные.

Артём почесал давно не стриженными ногтями чуть зудящую щёку. Мельком глянул на пальцы и увидел кровавую корочку под ногтями: наскрёб вчерашнего.

— И какие у вас слова лежат сейчас на самом верху? — спросил Артём: ему отчего-то хотелось говорить с владычкой.

— Что не стоит печали наш с вами плачевный вид, — сказал владычка, улыбаясь. — Что раз мы здесь собрались — на то воистину воля Божья. А ведь и не одни невинные здесь собрались, верно? Всякий про себя думает, что он точно невиновен, да не каждый даже себе признается, с какой виной он сюда пришёл. У одного — злохулительные слова, у другого — воровские бредни, у третьего — иная великоважная ошибка. И что нам теперь жаловаться, жителям соловецким? Нас сюда против воли привезли, а дедушка Савватий — основатель монастыря — сам ведь приплыл. И ведь он немолод был! Как ты думаешь, милый, Савватию показалось тут легко? Дедушка явился на пустой остров — шесть лет прожил, ничего у него, кроме репы, не росло, никто его не кормил, крыши над головой не было, никто не топил ему в его ветхом шалашике, никакого благоустройства не имелось вовсе. А жил, старался! А мы что? Только обиди и сердечное смятение, вместо того чтоб покаяться, и если не за те грехи, что вменили нам неразумные судьи, так за другие.

Артём потрогал голову и под волосами пальцами нашёл объёмную, отчего-то чуть сырую шишку, трогал её, иногда морщась и тем не менее продолжая слушать владычку.

— Для человека греха как бы и нет, если этот грех никто не видел! — говорил батюшка Иоанн. — Да ведь, милый? Не пойман — не вор. Бог — один, кто знает любого вора, и у него есть свои Соловки для всех нераскаявшихся, в сто тысяч раз страшнее.

— Так зачем же на земле Соловки, когда и там они приготовлены? —

спросил Артём. Он, естественно, не верил ни одному слову владычки, однако получал душевное удовольствие от его тихой ласковой речи.

— Я же говорю, милый: у Бога Соловки для нераскаявшихся, так, значит, лучше раскаяться вовремя, и земные Соловки — не самое дурное для этого место. Здесь без малого пятьсот лет жили так же тяжко, как и мы. Знаешь, как в Патерике соловецком писано о том житье: “Тружакхуся постом и молитвами купно же и ручным делом... иногда же землю копаху мотыгами... иногда же древесна на устои монастыря заготовляху и воду от моря черпаху... и во прочих делах тружакхуся и рыбную ловитву творяху... и тако от своих потов и кормов кормяхуся”. Что изменилось? Много ли отличий от наших дней? Мытарства те же. Путь всё туда же.

И здесь владычка — Артём даже чертыхнулся от удивленья — подмигнул. Но в то же мгновение вернул себе тихое, хоть и улыбочливое, благообразие.

— И вот что вспоминаю я ещё, — сказал владычка. — Читал вчера о соловецком архимандрите Варфоломее: “Дух же исходит от его тела добронравен”. А он на тот час одиннадцать недель, как помер! Что тут сказать, милый? Мы пахнем хуже некоторых мёртвых! Да, моют нас редко, кормят скудно, вощь живёт на нас, и хворость в нас. Но самый худший запах, милый, идёт от нераскаянного греха! Его смывать тяжелее всего!

Другой батюшка, что непрестанно кружил по палате, спрашивая хлеб, к дивану владычки старался не подходить. Но заметив, что путь побирушки проходит недалеко, в пределах почти уже досягаемости если не руки, то броска ботинком, владычка Иоанн этот самый ботинок со своей ноги снял и выказал резкое и явное намерение кинуть его. Батюшка-побирушка, прикрываясь рукой, отбежал на несколько шагов и стоял в отдалении, вытянув тонкую шею, похожий на испуганную птицу, ровно до тех пор, пока владычка ботинок свой не бросил на пол к ноге.

— Я тебе! — погрозились владычка побирушке.

Артём не без труда сдержал смех, но попутно обратил внимание на то, что веснушчатая рука владычки, когда он грозил, сложилась не в кулак, а привычно — в щепоть. Эта щепоть была обращена к самому владычке, и он тряс её так, будто быстро посыпал себя солью.

* * *

Послеобеденный замер температуры показал всё те же тридцать девять и два.

— А ты что никак не умоешься? — спросила пожилая медсестра, легко задев пальцем щёку Артёма. — Иди умойся, а то доктор будет ругать.

Лёгкое прикосновение, а так терпко что-то качнулось в душе и теперь раскачивалось. Какая-то игрушка была у Артёма в самом раннем детстве — наподобие маленьких весов. Качнёшь их — и они долго ищут равновесие: наблюдать за этим можно было подолгу, пока не закружится голова.

Артём даже приложил ладонь к щеке, чтоб прикосновение не исчезло так быстро.

“А она ведь тоже наверняка заключённая? — подумал Артём. — Её тоже осудили. И она тоже должна за что-то раскаиваться, как владычка говорит? Это же смешно!”

— Только под душ не ходи, — сказала пожилая медсестра. — Нельзя, чтоб на голову. И с такой температурой тем более.

“А тут и душ есть?” — встрепенулся Артём.

Но умываться не пошёл, всё ленился и потягивался — это ж какое удовольствие вышло: никуда не ходить, а только лежать и лежать.

Лежать — совсем не скучно. Лежать — весело!

“Странно, что в детстве я предпочитал игры лежанию, — дурашливо подумал Артём. — Надо было лежать и лежать. Вся жизнь потом на то, чтоб наиграться...”

Пришёл доктор. Само появление его вызвало словно бы лёгкую тряску и сквозняк.

Он был восточного типа — очень красивый, с пышной чёрной бородой, с умными, тёмными, вишнёвыми, напоминающими собачьи, глазами. Наверное, мать у него была русской, а отец — южных кровей. Или наоборот.

Доктор двигался между монастырскими диванами быстрый и белый, как парусник.

“Как парусник с вишнёвыми глазами...” — по привычке изобразил Артём Афанасьев.

За доктором почтительно следовали фельдшеры и медсёстры.

Больных было около ста человек. С некоторыми доктор говорил подолгу, к другим вообще не подходил. Но все его ждали, и даже доходяги пытались привстать на локтях, пропеть что-то — просьбу, жалобу...

— Доктор Али, — звали иногда то с одной стороны, то с другой. Доктор не отвечал.

По отрывочным репликам доктора и его сопровождения Артём догадался, что серьёзная часть лежащих тут лагерников — туберкулёзники, сифилитики и болеющие цингой. Другая половина — битые и покалеченные конвойными, десятниками, командирами: Артём оказался не один. Было ещё несколько саморубов и самоломов, вроде Филиппа, и пара порезанных, но не добитых блатными.

— Хлебушка нет, доктор? — спросил батюшка-побирушка у доктора Али.

У батюшки была жуткая гнойная сыпь по всей груди, которую он показывал не без гордости, как соловецкие награды.

— Хлебушка нет, — отвечал доктор серьёзно. — Клизма есть. Не хотите клизму?

Артёма это немного покорибило.

— От коммунизму — одну клизму, — отвечал батюшка недовольно и глумливо, вставив в оба слова ненужный мягкий знак, что глумливость заметно усилило.

— Хотите хлеба, батюшка, просите у неба, — в тон ему отвечал доктор Али, чем, признаться, сразу вызвал у Артёма потерянную только что симпатию. Его высказываниям, конечно, придавал особое очарование мягкий восточный акцент.

— Ох-ох-ох, — приговаривал владычка Иоанн, слушая этот досужий разговор.

Дошла очередь и до Артёма.

— Тут больно? Тут? — быстро спрашивал доктор Али. — Кажется, нет ничего. Тошнит? Покажите зрачок.

— Как я его покажу? — засмеялся Артём, хотя доктор уже взял его за подбородок. — Смотрите.

— Температура какая у него? — спросил Али пожилую медсестру, шествующую за ним с раскрытым журналом.

Пальцы у него были сильные и горячие. “Если у меня тридцать девять и два, — подумал Артём, — то сколько у него тогда? сорок два?”

— Почему не умытый? — высказал доктор даже не Артёму, а всем стоящим позади себя. — И вши, наверное, у него. При такой завшивленности брюшной тиф может начаться прямо в лазарете! Вот будет позор!

Было понятно, что доктор Али говорит не столько для своего сопровождения, а во имя некоей общей значимости своего управления.

Едва доктор отошёл, пожилая медсестра махнула журналом на Артёма: ну-ка, иди, умойся, немедленно!..

— Где душ-то? — спросил Артём у соловецкого монаха, прислуживающего теперь в лазарете. Бывшие монахи носили свои головные уборы набекрень — так их запросто можно было отличить от сосланных сюда батюшек, которых, к слову сказать, монахи не любили.

Монах указал жестом, куда.

— Воду не лить! — крикнул вслед сильным, но словно застуженным когда-то голосом.

В душевой никого не было: обход.

Душ представлял собой железный бак, полный водой, с бака свисала железная цепь; видимо, она давала воде свободу.

Артём быстро разделся, дёрнул с силою за цепь, полилась кривыми струями какая-то муть, но тёплая, приятная.

Отклоняя голову, чтоб не намочить узорное шитьё на виске, он встал поскорее под эти струи, тихо посмеиваясь и глядя себя руками по груди.

По всему телу бежала тёмная вода.

“Какой я грязный-то! — подумал Артём отчего-то с удовольствием. — Или вода такая?”

Поискал глазами мыло, не нашёл и начал яростно натирать себя руками — всё, кроме больших рёбер.

За этим своим копошением в воде сначала решил, что ему слышится женский смех... Перестал шевелиться и сразу убедился: нет, не кажется. Выше этажом смеялись женщины, молодые и голые. Они там тоже мылись.

“Голые и белые”, — подумал Артём, изо всех сил вслушиваясь в смех и голоса: даже рот раскрыл. В рот попадало брызгами из душа.

Белые и голые.

— Йодом в рот мазанная! — медленно произнёс Артём вслух чужое и непонятное ругательство. — Йодом. В рот.

Раз тронул себя, два, три — и накопленное задолго взорвалось в руке под женский смех.

* * *

Артём шёл назад лёгкий, мокрый, полный сил.

На обратном пути снова встретил монаха, думал, будет ругаться, что лил воду, но тот кивнул: вон там к тебе. И показал кривым пальцем закуток.

В закутке на лавочке сидел Василий Петрович.

Рядом с лавочкой были свалены окровавленные и драные носилки, стояло несколько вёдер, одно — полное старыми бинтами, ещё какой-то врачебный мусор.

— Напрасно, Артём, вы так не похожи на больного, — сказал с доброй строгостью Василий Петрович. — Я бы на вашем месте старался больше соответствовать этой роли. А с вас всё, насколько я вижу, как с гуся вода, — и даже потянулся рукой, чтоб коснуться волос молодого товарища, но не коснулся, конечно.

Артём улыбнулся.

— Вас там чуть не убили, между прочим, — сказал Василий Петрович. — Вы помните?

Не очень хотелось про это вспоминать, и Артём сделал неопределённую гримасу. Пока у него такая высокая температура и швы на башке — его в роту назад не погонят, а там будь что будет.

Судя по всему, его всё-таки угробят, понимал Артём, но бояться этого долго он не умел: страха хватало на несколько часов.

— Какие там новости у вас?

Теперь Василий Петрович помолчал, выдерживая паузу и не отвечая: судя по всему, он готовился к другому разговору.

— Как Бурцев? — спросил Артём, позируя своим жестяным равнодушием даже не перед Василием Петровичем, а перед собой.

— Бурцев? — переспросил Василий Петрович в явном огорчении. — Мстислав — да, озадачил. Поначалу, когда случилось с китайцем, я думал, что... Что он китайца так потому, что слишком много было китайцев среди красных войск. Бурцев же из колчаковских — у них особенно много беды было с ними. Но теперь вот вы...

Артём хмыкнул.

— Но вообще зря вы его поручиком назвали, — чуть более оживлённо заговорил Василий Петрович, до сих пор будто бы пытающийся понять Бурцева. — Он на поручика обиделся.

— То есть если бы я назвал его полковником, он бы не обиделся? — спросил Артём, улыбаясь.

Василий Петрович смолчал, поджав губы: Артём был прав.

— Лажечникова избili только что, — сказал Василий Петрович. — Я шёл к вам, его занесли в роту, а лежал за дровней... Весь чёрный. И непонятно, кто бил-то. Не начальство вроде бы.

— А я, кажется, знаю кто, — сказал Артём, вспомнив разговор на кладбище между Хасаевым и казаком.

Василий Петрович почему-то не стал переспрашивать, кого Артём имел в виду.

— Здесь все понемногу звереют, — ещё помолчав, сказал Василий Петрович. — Страшно — душа ведь.

Артём подумал и ответил очень твёрдо:

— Наплевать. Психика.

На том и начали расставаться.

Василий Петрович принёс ягод, угостил Артёма.

— Спасибо, — сказал Артём искренне, с удовольствием взвешивая кулёк на руке. — Монаху на входе, наверное, надо отсыпать?

— Я уж дал ему, — сказал Василий Петрович спокойно и чуть сухо. — Вообще сюда нельзя ведь, пришлось его подкупить... Вы, надеюсь, теперь всё поняли про Афанасьева? — спросил Василий Петрович, уже поднявшись.

Артём моргнул — в том смысле, что понял, понял. Давно всё понял.

— Знаете, Артём, как получается сглаз? — вдруг заговорил, казалось бы, о посторонней теме Василий Петрович. — Когда в человеке есть какие-то зачатки болезни, тогда к нему прививается та же мерзость или хвороба. У вас всё было здесь, насколько это возможно, хорошо, потому что внутри у вас было всё правильно устроено. Я любовался вами. Даже учился у вас чему-то. “Надо же, — думал, — никаких признаков человеческой расхлябанности, слабости или подлости”. А потом что-то случилось — и покати-лось. Знаете, как они вас все били? Меня б убили, если б мне так попало. А вы вон бегаете. Быть может, ваша бравада вас подвела, Артём? Вы подумайте над этим... Тут нельзя победить, вот что вам надо понять. В тюрьме нельзя победить. Я понял, что даже на войне нельзя победить, но только ещё не нашёл подходящих для этого слов...

Артём поднялся, пожал руку Василию Петровичу. Он решил не думать сейчас же, сию минуту над его словами — оставить на потом: скажем, попытаться осмыслить это, засыпая. Самые важные вещи понимаются на пороге сна — так иногда казалось Артёму. Одна закавыка: потом с утра не помнишь, что понял. Что-то наверняка понял, а что — забыл.

Но, может, и не надо помнить?

— Артём, вас ведь карцер ждёт, вы понимаете? — сказал Василий Петрович уже в коридоре.

Всё настроение испортил.

* * *

“А что ты думал? — издевался над собой Артём по пути назад. — Тебе двойной паёк выдадут? Пирог с капустой?”

— Чего там тебе принесли, делись, — сказал блатной, поймав Артёма на входе в палату.

Если б всё это было произнесено с нахрапом — Артём ответил бы зло: чего уж было терять после всего происшедшего. Но блатной обратился с улыбкой, несколько даже заискивающей. Ему можно было бы и отказать, весело сказав: “А не твоё дело!” — и всё это восприняли бы как надо, был уверен Артём. Хотя бы потому, что блатной тут был не в компании: в карты он порывался играть с кем ни попадя, даже владычке Иоанну предложил однажды; и вообще скучал.

— Дать ягодку? — спросил Артём.

— А то, — ответил блатной и тут же сложил руки ковшом. Не совсем осознанное, было у Артёма потайное желание задобрить, с позволения сказать, *блатного божка*: вдруг, если накормить этого, тогда и Ксива отлипнет, как банный лист?

— Хорошо, не четыре руки у тебя, — сказал Артём, отсылая в грязные ладони разных ягод.

— Чего? — не понял блатной.

На кистях его Артём заметил невнятные наколки, и ещё какой-то синопный рисунок виднелся на груди, в вороте рубахи, которая была размера на три больше, чем требовалось.

Щёки у него были впалые, глаза чуть гноились, лицом он казался похож на рыбу: вперёд вытязивались губы, дальше шли глаза, подбородок был скошен почти напрочь; будешь такому бить в бороду — и сломаешь кадык.

Прозвание у блатного было Жабра.

— Бабу хочешь? — спросил блатной, немедленно засыпав почти все ягоды в рот. Губы он тоже раскрывал как-то по-рыбьи. Артём постарался не заглядывать в блатную пасть, чтоб не увидеть рыбы мелкие сточенные зубки.

— Ох, ты, — с очевидной и нарочитой иронией сказал Артём, глядя в лоб блатному — скошенный и едва заметный. — А откуда у тебя баба?

— У меня бабы нет, — начал блатной говорить уже несколько хамоватым тоном: Артём знал эту их манеру: отвоёвывать каждым словом всякий мужской разговор в свою пользу, чтоб при первой же возможности раздавить собеседника, как клопа.

— А у кого есть? — спросил Артём весело: как бы то ни было, плевать он хотел на эти манеры! И это было видно, что плевать он хотел, даже с низким лбом можно было об этом догадаться.

Блатной догадался и продолжал более сдержанно:

— Там бабий лазарет, — блатной показал пальцем вверх. — Есть бабы рублёвые, есть полтиннишные, есть пятиалтынные. Местный монашек может сделать тебе встречу. Полтину ему, полтину мне: я посторожу, а после тебя попользуюсь. И на бабу — уж какую выберешь...

— У меня нет денег, — сразу сказал Артём.

— А чё есть? — спросил блатной и даже чуть подцепил Артёма за рукав двумя пальцами, измазанными к тому же ягодным соком.

— Убери руки-то скорей, — сказал Артём ласково.

Блатной убрал, чуть медленней, чем надо, но тут же предложил:

— А в картишки?

Артём даже не ответил: по коридору несли нового больного, носильщики — знакомые лица; двенадцатая рота вновь обеспечила пополнение лазарета.

Впереди шёл монах, указывал дорогу. Лажечникова — по виду натурально неживого — тащили Хасаев с напарником и кто-то третий, которого всё время загоразивал монах.

Вот уж кого Артём не ожидал увидеть здесь, но он явился — Афанасьев! Мало того, когда, семеня, держась за край попоны, на которой лежал бессознательный Лажечников, он проходил мимо, то подмигнул Артёму. Морда невыспавшаяся: опять, поди, в карты с блатными играл.

Сзади всю эту процессию подгоняла пожилая медсестра.

— Тебя хотел повидать! Навязался к чеченам в помощники! — прошептал Афанасьев, выйдя из палаты. — Сюда ж не прорвёшься. Но местные фельдшера таскать больных не хотят — поэтому... Что у тебя? Так били, а у тебя только нос распух да нитки вот на виске! Зашили?

— Зашили, — повторил Артём, пытаясь раскатать в себе неприязнь к этой рыжей твари, и всё никак не получалось.

Афанасьев схватил себя за чуб, привычно как бы пробуя на крепость свою голову: не слетит ли, не сорву ли.

— Не по плису, не по бархату хожу, а хожу-хожу по острому ножу... — пропел Афанасьев, с нежностью глядя на Артёма.

У Артёма против его воли промелькнуло: “Нет, не он, нет...” Артёму будто бы хотелось уговорить самого себя, притом что хитрить тут было нечего: Афанасьев сбросил святцы, а кто же ещё.

— Идём, Афанас, — позвал Хасаев.
— Ага, сейчас приду, — не оглядываясь, ответил Афанасьев.
— Они казака? — спросил Артём, показав глазами на чеченцев.
— А кто же, — ответил Афанасьев с деланой строгостью и тут же решился спросить: — Ты, наверно, думаешь, это я тебе святцы? Артём, Богом клянусь...

Артёма вдруг осенило, как всё это закончить:

— Афанас, а дай рубль займа? А лучше два.

Так бы Артём ни за что стрелять не стал — не было привычки, но в эту минуту показалось простым и даже спасительным.

Афанасьев с удовольствием дал и напоследок ещё раз подмигнул.

— Я приду ещё! — сказал, схватив себя за чуб.

— Ага, — ответил Артём. — Только не тащи больше из роты никого. Тут уже и коек свободных нет.

Очень довольный шуткой и ещё, кажется, тем, что отдал два рубля, Афанасьев захохотал.

— Эй, — с полдороги Афанасьев вернулся. — Вот ещё рубль, держи. Пожрать себе купишь...

* * *

Лажечников очнулся, но говорить не мог, только моргал и дышал. Из бороды его вырвали несколько клоков, на челюстях кровянила содранная кожа. Мохнатые брови казака встали почти дыбом, будто от ужаса. Смотреть на него было тяжело.

— Может, пить? — спросил Артём у Тимофея Степановича.

Пожилая медсестра прогнала Артёма:

— Иди на своё место, без тебя знают, всё дадим.

Он ушёл, влез под покрывало, там вскоре настигли мысли горячие и нудные: что значит одно приключение в душевой для такой молодости!..

Не выдержал, выбрался на свет. Вынул из кармана мятый рубль и любовался на него с тем чувством, как будто это была картинка с обнажённой девицей.

Рубль сулил ошеломительную и долгожданную радость — такую огромную, что её едва могло вместить сознание.

“Тёмная? Русая? Рыжая? — лихорадочно думал Артём. — Какая будет? За рубль может быть очень красивая... Волосы кудрявые или прямые? И что — её можно совсем раздеть? Снять всю одежду?”

На рубле было написано: “Лагерь Особого Назначения ОГПУ”. Ниже: “Расчётная квитанция”. Ещё ниже: “Принимается в платежи от заключённых исключительно в учреждениях и предприятиях Лагерей Особого Назначения ОГПУ”.

“Почему ничего не написано про платежи рублёвым красавицам?” — дурачился Артём.

Правду сказать, ему было немного стыдно, но эта долгожданная, звериная радость была куда сильнее, она оглушала так, что сознание иногда словно бы уходило под воду.

“Потом, разве ей не нужен рубль? — отчитывался перед собой Артём, трогая нитки на виске. — Её же никто не принуждает, верно?”

Батюшка-побирушка, пользуясь тем, что владычка Иоанн задремал, вновь пришёл к дивану Артёма, и тот поспешно спрятал рубль в карман.

Видя неприветливое настроение Артёма, батюшка начал толкать дремлющего Филиппка:

— Не осталось с обеда хвостика селедочного? Очистков от картошечки, может?

— Уйдите, батюшка, нету, сами голодны, — жалостливо, в отличие от многих других, просил Филиппок, но именно на него батюшка и осердился.

— “Сами голодны...” — передразнил он. — Ничего, ничего. Была бы свинка — будет и щетинка.

— О чём вы таком говорите, батюшка? За что корите? — слезливо жаловался Филиппок, но его уже не слушали.

Батюшка-побирушка лишь на первый взгляд мог показаться душевно-большим: нет, при внимательном пригляде становилось ясным, что он скорее здоров и уж точно не дурнее любого лагерника. Речи его служили тому порукой.

Нередко батюшку угощали, особенно когда поступали новые больные из тех рот, где жизнь была получше и платили порой двойные, а то и тройные зарплаты, — мастерские из пятнадцатой роты, канцелярские из десятой, спецы из второй. И тогда он становился точен в словах и наблюдателен.

Звали его Зиновий.

Особенно батюшка любил сахарок.

Больные лагерники, — в первую очередь, из числа верующих — тянулись к нему, пока не познакомились с владычкой Иоанном и не переходили в другую, так сказать, приход.

Батюшка Зиновий, очевидно, ревновал.

Лицо у него было неразборчивое, как бы присыпанное песком и маленькое, словно собранное в щепоть; волосы редкие, русые, длинные, безвольные.

Докучливое его побирушничество легко сменялось в нём дерзостью и брезгливостью, особенно в отношении тех больных, что ни разу его не угощали и не собирались этого делать в дальнейшем, — видимо, Филиппок к таким и относился.

Впрочем, любого насилия батюшка-побирушка опасался и, если возникала угроза сурового воздаяния, сразу отступал и затаивался.

Разговоры его всегда носили характер ругательный и беспокойный: советскую власть он не любил изобретательно, разнообразно и не скрывал этого.

Однако к теме подходил всякий раз издалека.

— Как всё правильно устроено в человеческом букваре, — объяснял Зиновий цинготному больному с жуткими ранами на дёснах, которые батюшку нисколько не смущали. — Переставь во всём букваре одну, всего единственную буквицу местами, и речь превратится в тарабарщину. Так и сознание человеческое. Оно хрупко! Человек думает, что он думает, а он даже не в состоянии постичь своё сознание. И вот он, не умеющий разобраться со своим сознанием, рискует думать и объяснять Бога. А Богу можно только внимать. Перемени местами в сознании человека одну букву, и при внешней благообразности этого человека скоро станет видно, что у него путаница и ад во всех понятиях. Вот так и большевики, — переходя на шёпот, продолжал батюшка. — Перепутали все буквы, и стали мы без ума. Вроде бы те же дела, и всё те же мытарства, а всмотреться если — сразу видно, что глаза мы носим задом наперёд и уши вывернуты внутрь.

Жилистый монах из бывших соловецких, неприметно пришедший забрать бельё излеченного и отправленного назад в свою роту лагерника, зацепился, как репей, за одно слово разглагольствующего батюшки и взвился так, словно давно был к этому готов и слова припас:

— А чего вы жалуетесь? — даже притоптывая ногой в грязном сапоге, говорил он. — Мы и до вас так жили тут на Соловках, и даже тяжелее. Вставали в три утра, а вы тут — в шесть! И работали до темноты. Рабочих-трудников монахи гоняли не меньше, чем вас — чекисты!

Батюшка Зиновий немедля стих и спорить не стал.

Артём приподнялся на своём диване и взглянул на владычку Иоанна. Ему хотелось услышать пояснения случившейся перепалки.

Тот готовно отозвался на взгляд Артёма, как ждал.

— Островом белых чаек и чёрных монахов называли Соловки, — сказал батюшка Иоанн через минуту. — Им тяжело тут было, правда.

— Так вы на его стороне? — негромко спросил Артём про монаха.

— Нет никаких сторон, милый, — ответил батюшка Иоанн. — Солнце по кругу — оно везде. И Бог везде. На всякой стороне.

— И на стороне большевиков? — спросил Артём. Ответы батюшки ему не очень нравились.

Батюшка Иоанн улыбнулся и, похоже, решил начать сначала:

— Монахи и в прежние времена испытывали недостаток любви к священству. Они же в безбрачии живут, в неустанных трудах, в немалой скудости. Наверное, они считали, что имеют право упрекнуть кого-то из нас в потворстве плоти. Что ж, и я не скажу, что всё это напраслина. Но здесь, на Соловках, многие монахи, как закрыли большевики монастырь, пошли в услужение к чекистам. Теперь они, милый, числятся в ОГПУ помощниками по хозяйству и предерзостно ведут себя с заключёнными архиереями, будто свершая тайное своё отмщение. А за что метить нам? Всякий из нас на своём месте. Мы в тюрьме — они на воле.

— Этот монах ругался, что их воля всегда была, как ваша тюрьма, — сказал Артём.

Владычка Иоанн покивал головой, улыбаясь тепло и беззлобно.

— Будет великое чудо, если советская власть преломит все обиды, порвёт все ложные узы и сможет построить правильное общежитие! — ответил он так, словно напел небольшую музыкальную фразу.

— Где их воля будет как наша тюрьма... — насмешливо начал Артём, но батюшка Иоанн приложил палец к губам: те-с-с.

Артём наконец догадался, что батюшка просто не хочет прилюдно разговаривать на все эти трудные темы.

— Слушай этого обновленца! — вдруг выкрикнул со своего места батюшка-побирушка, обладающий, как выяснилось, хищным слухом. — У него попадью красноармейцы снасиловали, а он всё про общежитие рассказывает! Слушай его, он тебе наговорит!

Артём боялся взглянуть на владычку, но, когда всё-таки повернул голову, увидел, как батюшка Иоанн тихо сидит, переплетя пальцы и шепча что-то. Дождалься, пока ругань прекратится, поднял глаза и снова улыбнулся Артёму: вот, мол, как.

* * *

— Нашёл рубль? — спросил Жабра вечером: как чуял.

— Нашёл, — сказал Артём не своим голосом, немедленно почувствовав душное и томительное волнение.

Когда принесли ужин, блатной снова направился в сторону Артёма, но оказалось — не к нему.

Жабра присел на диван к Филиппку и попросил, прихватив пальцами его миску:

— Погодь, не ешь! Дай-ка.

Филипп, ничего не понимая, отдал свою миску: Жабра поднялся и пошёл с ней к себе. По дороге он съел всё, что лежало в миске, и, развернувшись ровно возле своего дивана, принёс назад пустую посуду, вложив её в руки Филиппку.

Всё это было так нагло и просто, что Артём против воли улыбнулся — улыбкой кривой и удивлённой.

Заметив эту улыбку, блатной кивнул Артёму, как сообщнику.

Ситуация была дурная и нелепая.

Едва ли Артёму пришлось бы теперь в голову заступаться за кого бы то ни было... но сообщником Жабры он точно не желал быть. А так получилось, будто бы выступил на его стороне.

“Как будто я из-за рублёвой... на всё это смотрел молча!” — раздражался Артём.

Филиппок минуту оглядывал свою миску, а потом тихо заплакал.

Ничего не видевший, но заметивший плачущего соседа владычка Иоанн поднялся и, прихрамывая, пришёл со своего места.

— Что такое, милый? — спросил он Филиппа.

— Да ничего, — ответил Артём, почувствовав, что перед владычкой ему всё-таки будет стыдно за всё это. — На, жри, — он сунул свою нетронутую миску Филиппку.

И тот принял дар.

— Что такое? — спросил владычка уже Артёма.

— Голодный, — ответил он.

Быстро и всхлипывая иногда, Филипп съел всё подчистую.

“Пшёнка”, — сказал себе Артём, стараясь не смотреть, как едят другие.

— Дойдёт тать в цель — поведут его на рель, — вдруг сказал Филипп громко.

Артём поначалу и не понял, к кому он обращается, о чём говорит. Поразмыслив, догадался, что слова обращены к Жабре. Но ещё глупее было то, что Филипп снова воспринял Артёма почти как заступника, потому и поднял голос.

Жабра, к счастью, не догадался.

Филипп протянул миску Артёму.

— Чего тянешь? — спросил он раздражённо. — Иди мой, помытую вернёшь.

Только когда Филипп стал подниматься, Артём медленно вспомнил, что тот вроде и не вставал до сих пор. По палате точно не бродил, а всё спал или тупо глядел в потолок.

Самодельный костюл лежал под диваном у Филиппка: опираясь на него, он поднялся и, неловко взяв миску, сделал первый шаг. Одна нога ниже колена была у него ампутирована.

— Б...! — выругался Артём, рывком сев и ощутив резкую боль в рёбрах. — Б...! — повторил он на этот раз уже от боли.

Напуганный Филипп встал и оглянулся: не его ли ругают. Владычка Иоанн насушился бровями так печально и болезненно, как будто его больно толкнули в грудь. Один Жабра, торопливо вернувшийся откуда-то из коридора, ловко и как ни в чём не бывало обошедший Филиппа, нашёлся как пошутить, наклонившись к дивану Артёма:

— Зовёшь уже? Сюда нельзя привести. Придётся самому до неё дойти.

Перемогая боль, Артём посидел немного, потом спросил:

— Что, сейчас уже?

— А ты думаешь, им долго готовиться надо? — спросил Жабра рыбьим своим ртом. — Подняла жопу да понесла.

“Его ж можно поймать на крючок, на червя”, — подумал Артём, глядя в этот рот.

Монах ждал в конце коридора, вроде как поправляя оконную раму, про которую тут же забыл, едва подошли Артём с Жаброй.

— Полтину давай, — сказал монах.

Голос у него был такой, словно, как зарождался в груди, так оттуда и раздавался.

— Где девка? — спросил Артём, денег не показывая. Ему уже ничего, кажется, и не хотелось. Не радость уже была, а словно обязанность, только не ясно, к кому обращённая.

— В дом терпимости, что ли, пришёл? — спросил монах из своей утробы. — Чё тебе ещё показать?

— Дай ему полтину, фраер, — сказал Жабра, снова с чего-то почувствовавший свою силу.

Артём шмыгнул носом и не придумал, как себя повести: уйти бы надо было, уйти, но так болезненно захотелось посмотреть: всё-таки рыжая, русая или тёмная? Только посмотреть, и всё.

— Натё, делите, — Артём протянул вверх соловецкий рубль. Монах взял в кулак бумажку, одним движеньем куда-то спрятал и пошёл.

Жабра больно толкнул Артёма в бок: иди за ним.

“Надо ему жабры вырвать”, — подумал Артём, но двинулся за монахом.

— Это моя комната, — сказал монах, встав у двери. — Баба там. Свет не жечь. Пока схожу мусор вывалить — надо успеть. На кровать не ложитесь. Стоя случайтесь.

Артём молчал.

Монах толкнул дверь: она оказалось открытой. Внутри была еле различимая и пахучая полутьма.

— Не вздумай, говорю, свет жечь, — повторил монах, уходя. — За бабу тридцать суток карцера полагается.

— И вечно гореть в аду, — сказал Артём будто сам себе.

— А за повторное — полгода изолятора, — утробно бубнил монах, уходя. — И поделом.

“Святоша какой”, — подумал Артём, всё никак не решаясь войти.

— Давай уже, б..., — толкнул его Жабра, и снова больно.

— Ты, пёс, — развернулся Артём, — ещё раз дотронешься до меня...

Понял, пёс?

Жабра что-то ловил своим ртом, но глаза при этом были тупые, наглые: Артём различал в упор их белую муть.

Шагнул в комнату, закрыл за собой дверь, поискал крючок — и нашёл, накиннул.

Развернулся и, пытаясь хоть что-то рассмотреть, привыкал к полутьме.

— Я тут, — раздался женский голос. Она сидела у окна на стуле.

Артём сделал два шага — она поднялась навстречу.

— Вот о подоконник обопрись, а ты давай, — сказала она; дыхание пахло пшёнкой. Лица Артём никак не мог разглядеть.

— Быстрее надо, — сказала она, поднимая свои одежды, в темноте напоминающие перешитый мешок: возможно, так и было.

— Волосы какие у тебя? — спросил Артём, взяв прядь в ладонь. Из чем-то закрытого окна едва пробивался фонарный свет с улицы, но цвет волос было не различить.

— Ты стричь, что ли, меня пришёл? — прокуренно хохотнула она.

— Замолкни, — сказал Артём, правой рукой проведя по её лицу: надбровья, нос, губы...

— Что ты, как, б..., слепой елозишь по мне, — выругалась она, хлопнув Артёма по руке.

Нос был тонкий, лоб чистый, кожа сухая, обветренная, губы женские, мягкие.

Артём сунул ей рубль в руку и пошёл.

Забыл, где крючок на двери, возился — женщина коротко и неприятно посмеялась у него за спиной.

— Ещё кто будет? — спросила она, икнув, когда Артём, наконец, открыл.

— Нет, — ответил он.

В коридоре сразу увидел Жабру, тот стоял наготове.

— Теперь я, — сказал Жабра, спеша протиснуться мимо Артёма.

Поймав его за ворот, Артём прошептал блатному на ухо очень настойчиво:

— Вот тебе рубль. Не трогай её, будь добр. Пошли со мной.

Жабра чертыхнулся, но ухватил рубль, спрятал в карман.

— Пошли, пошли, — повторил Артём, потянув Жабру за пиджак.

Он и сам не знал, зачем всё это сделал.

* * *

Настроение с утра было препоганое: всё опять обвалилось и придавило: ожидание карцера, Ксива, Бурцев, Сорокин, Кучерава... или расстреляют? Ведь могут же и расстрелять? Придёт посылка от матери, а его зарыли. В посылке колбаса — кто её съест? Или обратно пошлют посылку? “Считаем нужным вам сообщить, что по причине расстрела вашего сына посылку возвращаем за ненадобностью”.

Артём вцепился руками в покрывало и сидел так.

Новому саморубу без двух пальцев меняли повязку, он рычал.

— Летом саморуб — редкий случай, это зимой они гуртом идут, — рассказывал кто-то неподалёку. — А на одном участке прошлой зимой был такой десятник: каждому саморубу отрезал ещё и ухо. И над дверью вешал.

Так у него целое ожерелье висело. Приехало соловецкое начальство на проверку, а он докладывает: сорок саморубов наказано отсекованием ушей! И его — к награде!

“Брешут всё”, — думал Артём.

Лажечников едва приходил в сознание, ничего не ел и говорить не мог. Грудь у него стала чёрная, а борода обвела, словно подрезанная у корня.

Артём вспомнил, как поймал божью коровку, когда ломали кладбище, а Лажечников это заметил и говорит: “У нас такую кизявочку называют Алёнка”. И пробубнил над божьей коровкой: “Алёнка, Алёнка, полети на небо, там твои детки сидят у сапетки”.

“Полети” он произносил “пальти, пальти”, и это было смешно: здоровый казачина в бороде и в бровях, а шепчет над кизявочкой.

— Что за сапетка? — засмеялся Артём.

— А бабье грешное место, — сказал Лажечников, щурясь. — Но ежели по-правильному — корзина из прутьев тальника, это и есть сапетка. Шутка такая.

“Надо было всё сделать вчера с этой бл...ю, — ругал себя Артём, в мыслях своих спеша с одного на другое. — Надо было всю её разодрать на части, всю раздеть, рассмотреть, обнюхать, везде пальцами залезть... Потому что когда теперь? Да никогда!”

При этом никакого возбуждения Артём не чувствовал, и плоть его была вялая и сонная.

Филипп прежде прятал свою ногу в покрывале, а теперь выставил культю наружу и проветривал. Над ней кружились мухи.

Свою миску он не мыл: может, надеялся, что Жабра не будет из-за этого отнимать еду.

Цинготный больной неподалёку после каждого обеда выковыривал изо рта зубы. Артём как заметил один раз ужасные раны на дёснах у него, так теперь не мог отвязаться от воспоминания.

Артёму замерили температуру — на этот раз тридцать девять и три.

“Может, у меня горячка? — думал он. — Что же я ничего не ощущаю? Впасть бы в бред, может, тогда не тронули бы. Проклятое сознание, уйди!”

Явился Жабра, про которого вовсе не было ясно, что у него болит. Настроен он был так, будто Артём теперь — вша, и осталось эту вшу задать ногтем.

— Мне сказали, тебя в карцер посадят, — сразу начал Жабра. — Знаешь, куда пойдёшь? На глиномялку.

Артём молчал.

— Знаешь, что такое глиномялка? Подвал под южной стеной. На дне — глина, которую надо месить ногами. С утра до вечера в глине по колени. Пайка — 300 грамм хлеба. По уму, в подвал влезет человек тридцать, не больше, но загоняют обычно под сто. Лежат все на цементном полу — ни покрывал, ничего. Оставляют только бельё. Если бельё нет — голый. Кормят из одного ушата, а посуду не дают, поэтому жрут так, из рук. Чтоб сдохнуть — надо неделю. Тебе дадут точно месяц, но, наверно, больше.

— К чему ты это всё рассказал? — спросил Артём.

— А отдай пиджак, всё равно не нужен, — сказал Жабра.

— Отцепись, — сказал Артём.

Жабра улыбнулся: раскрыл свой рыбий рот, и показались действительно рыбы, мелкие и грязные зубы.

— И ещё пять рублей ищи, — сказал Жабра. — А то донесу, что ты с бабой был. Ещё месяц накинута. К обеду чтоб были.

Филиппок на этих словах ногу зарыл в покрывало.

Владычка Иоанн, который разговора толком не слышал, но о чём-то догадался, привстал со своего места и в своей ласковой манере попросил Жабру:

— Милый, иди-ка ты на своё место, полежи да отдохни; что ты покоя не знаешь, всё тебе не сидится на месте.

Жабра послушался и пошёл, но вспомнил что-то и вернулся на два слова:

— Из твоей роты передают: тебе посылка пришла, ждёт на почте. Надо бы её забрать, сюда принести, и я посмотрю, как с ней быть... Да? Привет от Ксивы, понял? Напиши письмо, чтоб посылку забрали, мы найдём нужного человека для этого. Напиши: “Я лежу в лазарете и прошу отдать посылку”. Так можно. А я монаху письмо твоё скину, и он всё устроит.

Владычка Иоанн, дождавшись окончания разговора, снова улёгся, но было ему беспокойно, и он ворочался.

Вскоре, не дожидаясь завтрака, поднялся и, тяжело хромая, вышел из палаты. Не было его достаточно долго, но явился он повеселевший.

Съел свой остывший завтрак, к которому никто, конечно, не притронулся, и после, порозовев, еле слышно напевал что-то.

Часа через полтора владычку вызвали — он тяжело, от одного дивана до другого, пробрался в коридор, но всего спустя минуту вернулся с мешком, который положил Артёму на диван.

Артём потянулся к мешку — ёкнуло в ребре, тогда, изловчившись, подхватил его левой рукой, уложил к себе на колени: ну, да, посылка от матери.

Как она пахла! Это было просто невозможно! Артём оглянулся по сторонам: все должны были чувствовать этот восхитительный, разнообразный дурманящий аромат.

Даже не залезая в мешок, а только закрыв на мгновение глаза, Артём мог бы назвать почти всё, что было в мешке: щекотала ноздри горчица, тяжело расплывался белый запах сала, тонко и остро вился жёлтый запах лимона, обволакивал разноцветный запах сушёных фруктов, пыльно и рассыпчато пах рис, туманно и тяжело вяло чаем, легко, чуть светясь, пах сахар, в сахаре и горчице, золотясь и нежась, плавала вяленая рыба, и колбаса — ах, эта конская колбаса! — она совсем не пахла лошадьё, она пахла мясным развратом, плотью, жизнью...

— Владычка Иоанн! — Артём повернулся к батюшке, растроганный и удивлённый. — Как вы узнали? Как вы забрали её?

Владычка поманил Артёма пальцем, чтоб не говорить во всеулышание.

Артём накрыл мешок покрывалом и перешёл к владычке на диван.

— На почте только наш длинногивый брат работает, — говорил шёпотом владычка, посмеиваясь. — Я уговорил!.. А то, я вижу, к твоей посылке слишком много рук тянется. Главное, чтоб она попала к тебе, а дальше ты, милый, сам решишь, кого стоит угостить, а кого нет. И не сердись на них! Филиппа не обижай — он с работы, раненый, с поломанной ногой, нёс огромный пень, упал, потерял сознание от боли и усталости. Пролежал день. Администрация думала: сбежал, искали с собаками. Как нашли — собаки ещё раз ногу порвали. Потом его допрашивали два дня. Потом бросили в глиномялку. Пока разобрались, что не по вине наказывают, там началась такая болезнь, что пришлось резать ногу. И теперь ему без ноги скакать до семьи смерти! Ты добрый, не кори его за его пустословие. Через своё пустословие он тоже движется к Богу... И на Жабру не сердись! Легко ли человеку с таким прозвищем жить? Он ведь тоже создан по образу и подобию, а его все Жаброй зовут, хуже собаки, и собаку-то так никто не назовёт, милый... И не обозлился за весь этот беспорядок вокруг тебя. Если Господь показывает тебе весь этот беспорядок — значит, он хочет побудить тебя к восстановлению порядка в твоём сердце. Всё, что мы с тобой видим, — просвещение нашего сознания. За то лишь благодарить Господа надо, а не порицать!.. Ну, иди, иди к своим дарам.

Потрошить посылку на виду у всех Артём посчитал совсем лишним, но удержаться от того, чтоб съесть конской колбасы, не смог.

Откусил раз, откусил два — и встретился глазами с Жаброй. Тот выглядел обескураженно.

Артём не стал отводить взгляда и яростно оторвал зубами ещё кусок колбасы. Не глядя, порыл рукой в мешке, нашёл по запаху связку сушёных яблок — достал и закусил колбасу ими.

Жабра поманил Артёма, указав на двери в коридор.

Тот со счастливой улыбкой кивнул: иду, иду немедленно, дорогой товарищ.

— Не ходи нигуда, милый, — позвал его владычка, но было поздно. Артём так и вышел в коридор с колбасой и яблоками.

— Ты не понял, фраер... — начал Жабра.

— Как же не понял, — удивился Артём. — Всё я понял.

Связку яблок он взял в зубы, чтоб не мешали.

Жабра ловко нырнул от первого удара, но второй — с левой — поймал. Незадача состояла в том, что в левой была ещё и колбаса, и удар был слабый. Ответный Артём получил по рёбрам — кажется, Жабра понимал, куда бьёт. Было так больно, словно одно ребро отломилось и воткнулось куда-то в самую нежную мякоть.

Артёма повело. Он выплюнул яблоки. В глазах отекало. Жабра норовил теперь попасть в висок, причём пальцы держал, как птица — когти.

“Он нитки на виске хочет развязать... — с дурашливым страхом осознал Артём. — Развяжет нитку, и башка моя... как ботинок... разявится... всё вывалится...”

Яблоки под ногами хрустели.

Кто-то выскочил из палаты, зашумел: “Эй! Дурни! Эй!”

Артём заметил, как монах идёт по коридору, в руке полено — тоже по их душу.

Пугнул левой, ушёл от удара под рукой Жабры так, что оказался у него за спиной, и всадил ему правой, крюком, в затылок.

Дверь в палату была открыта, и Жабра туда влетел и загрохотал где-то там.

Артём подхватил с пола колбасу, яблоки было уже не собрать, и поспешил вслед за Жаброй.

Монах, поняв, что не поспевает, с размаху кинул поленом — как будто всю жизнь жил с ним и ненавидел его и вот решил, наконец, выбросить.

Полено ударилось в стену так, что треснуло.

* * *

Температура опять была высокая.

Зато спал как рыба во льду: крепко, не слыша ничего, никого не помня.

Утром набрал съестного — понёс владычке Иоанну.

— Ничего не надо, милый, — печально отнекивался он. — Вот дай побирушке. А мне ничего не надо. Чем я тебе отплачу, милый? Я беру, только когда других могу угостить, а тут ты сам всех можешь покормить, кого хочешь. Не буду ж я при тебе дары твоей мамки отдавать другим в палате? Нехорошо получится. Иди лучше сам покорми, кого меньше всего хотел бы обрадовать: теперь уже можно, теперь ты его победил, будь же добр к нему, тебе это к лицу, милый.

— Обойдётся, — сказал Артём.

У Артёма в это утро сняли швы, а Жабру, наоборот, ещё вчера зашили: когда падал, рассадил себе лоб и половину рыбьей морды, включая губы. Выглядел он бесподобно и странным образом напоминал теперь двух рыб сразу.

— Язык у тебя тоже раздвоенный теперь, змей? — спрашивал Артём, присаживаясь к Жабре на его монастырский диван по дороге в сортир. Жабра двигался, уступая гостю место, и молчал, изнывая от боли и дрожа челюстями.

На обратном пути Артём опять заглядывал к Жабре, вытирал сырые руки о его покрывало, туда же сморкался.

Некоторое время разглядывал блатного.

Шов этот через всё блатное лицо Артёма забавлял.

— Предлагаю сменить тебе кликуху. Будешь не Жабра, а Корсет, — предложил Артём, потешаясь.

Жабра молча сглатывал: глотать ему было больно.

На обед Артём забрал у Жабры миску с обеденным винегретом.

— Всё равно ведь жевать не можешь, — сказал. — Жамкаешь только, еду переводишь. Я тебе червячков в навозе нарою, Жабра. Будешь их глотать, не жуя.

Жабра по тупости не понимал, что Артём говорит, и пайку свою защищать даже не пробовал.

Артёму и не надо было, чтоб его понимали, он веселил только себя.

Винегрет отдал Филиппку. Тот не хотел принимать, тогда Артём просто вывалил порцию из миски Жабры в миску Филиппку и отнёс пустую посуду блатному.

Протянул: бери. Жабра не вовремя решил показать характер, за посудой руки не протянул.

Артём не удержался и резко ударил пустой миской Жабру по голове.

Тот от неожиданности скривился, швы на губах разошлись, потекла кровь.

Полобовавшись, Артём ушёл на свой диван, улёгся, приглядывая за блатным: того било и лихорадило.

Обезумев, он добежал до дивана Артёма, тронуть его боялся и только выкрикивал:

— Пришьют тебя! Тебя пришьют! — Жабра на каждом “ш” плевался кровью; и — Артём по-детски удивился — слёзы из глаз блатного тоже не текли, а брызгали, надо же!

— У тебя рот порвался, — ехидничал Артём, не вставая. — Иди к доктору Али, попроси тебе губы пришить на место. А то жабры свои застудишь.

— А! — орал Жабра уже без слов. — Мыа!

— Господи, Боже ты мой милостивый, — шептал владычка, которого Артём не видел за спинкой дивана. — Боже ты мой, Господи!

Вскоре Жабру увели перешивать.

Через минуту взглянула пожилая медсестра — и сразу к Артёму.

Он думал, сейчас начнут за Жабру отчитывать, но оказалось другое. Она тронула рукой его лоб и сразу закричала не хуже Жабры:

— У тебя температура нормальная! Ты здоровый! Почему у тебя тридцать девять всегда? Где ты греешь градусник? Ты знаешь, как это?.. Это — симулянт! Ты! Симулянт! — слова из неё вырывались невпопад и путано.

До сих пор она казалась Артёму вполне интеллигентной. Он думал, что это какая-то несчастная казрка, и фамилия у неё была звучная, вроде Веромлинской или что-то похожее, а тут — как подменили.

— Откуда я знаю, почему у меня тридцать девять? — удивился Артём. — Нигде я не грею градусник! Сама ты его греешь где-нибудь! — Он никогда бы не заговорил с пожилой медсестрой на “ты”, но она так орала, так орала...

— Что же вы творите! — почти плакал владычка, вставший и пришедший, чтобы замирить шум.

Пока пожилая медсестра отчитывала Артёма, явился, громыхнув дверью, доктор Али, весь взъерошенный и обозлённый, даже борода участвовала в его возбуждении.

— Таких, как ты, в моём лазарете — не будет! — процедил он, не доходя до Артёмова места десять шагов. — Собирай вещи! Вылетишь отсюда пулей! — взмахнул своим белым парусом и отбыл.

Артём сидел, не двигаясь, держа мешок в руках.

Сердце его громко билось, словно ошалевшее.

Он пытался хоть какую-нибудь мысль додумать до конца — в пределах одной фразы, — но только метался от градусника к доктору Али, оттуда к губам блатного, и снова назад, и никак ничего не понимал.

Владычка Иоанн сел рядом.

— Ты как дитя, милый, — говорил он торопливо и жалостливо. — Только тут детей не ставят в угол, а сразу кладут во гроб! Помолись сам, а я за тебя молюсь денно и...

С другой стороны подсел больной, всегда тихо лежавший на своём месте, рядом с владычкой Иоанном, — крупный, давно не бритый мужчина, с большим носом, большими губами, мятыми щеками.

— Я артист, моя фамилия Шлабуковский, — сказал он, утирая пот с лица и трудно дыша. — Но дело не в этом... Я слышал, как вас отчитывали... Я заметил то, на что вы не обратили внимания, — она всегда даёт вам градусник после меня... И не страживает... У меня жар... Который день жар... А они замеряют вам температуру — и ставят мою... Я только что понял... Эти люди — кого они могут лечить? Этот персонал всех может только похоронить. Вы имейте в виду — я готов подтвердить, что ваш градусник был с моей температурой...

Артём не успел обрадоваться, как за ним пришёл красноармеец из охранной роты. На плече висела винтовка.

Он громко назвал фамилию Артёма, с ошибкой и с неправильным ударением.

У Артёма пересохло во рту и ослабели ноги.

Он точно знал, что зовут его, и никакой путаницы тут нет. Красноармеец снова повторил фамилию, совершив в ней другую ошибку, ещё раз на глаз переставив ударение, которое снова было неверным.

Все эти ошибки звучали так, словно Артёма уже начали проворачивать в мясорубке.

Красноармеец выругался и назвал фамилию в третий раз, добавив:

— ...Который, мать его дрыном в глотку, Артём!

— Вот он сидит! — сказал Филиппок, усевшись и показывая на Артёма рукой. — Здесь! Вот!

Артём взял мешок и, не глядя ни на кого, пошёл к выходу.

Последним мелькнуло: владычка крестил веснушчатой рукой его спину.

* * *

— Мешок-то куда? Ещё покрывало возьми с подушкой, — сказал красноармеец, скалясь. — А то и диван волоки. Будешь, как Иван-дурак на печи. Лицо у него было, как картошка в мундире, лопнувшая улыбкой.

“Словоохотливый...” — выпало в сознании Артёма единственное слово, но оно зародило способность к мышлению.

Артёму пришлось возвращаться к своему дивану. Владычка принял мешок в руки и сказал уверенно:

— Сберегу до твоего возвращения.

На улице шёл дождь, Артёма привели в ИСО, он успел немного промокнуть и остыть, да и продышаться.

До сих пор он внутри этого здания не был и не стремился туда.

Пройдя мимо пивших кипяток дежурных вниз, поднялись на третий этаж, красноармеец крикнул, приоткрыв дверь безо всякой надписи:

— Привёл заключённого из лазарета! — и назвал фамилию, в четвёртый раз её переврав.

Артём даже засмеялся — негромко, но искренне. Его точно привели не на расстрел — это уже было весело.

В кабинете сидела Галина за громоздким и некрасивым столом.

Или, быть может, сама она была стройна и по-женски деловита настолько, что стол казался таким чрезмерным, грубым.

На столе стояла печатная машинка, крупная и тяжёлая, как трактор.

Вся комната, кроме окон и стены за спиной Галины, была заставлена стеллажами. Там, видимо, хранились дела лагерников.

Она произнесла фамилию Артёма без единой ошибки:

— Горяинов?

— Да. Я.

— Артём?

— Артём Горяинов. Да.

Галина трогала бумаги на столе, но было видно, что она и так всё помнит отлично.

— Садитесь, — сказала она через минуту, как будто не помнила, что он стоит.

“Всё ты помнила...” — подумал Артём и сел на табурет у стола.

Табурет был шаткий.

Он попробовал, чуть привстав, его установить надёжней, но Галя попросила:

— Сидите спокойно.

Артём уселся, однако ноги пришлось держать в напряжении — всё время казалось, что он сейчас завалится вместе со стулом на пол. Даже в виске заняло и в ребре отдалось.

“Лучше б я стоял...” — подумал Артём.

— Вот донесение... — Галина читала одну из бумаг и морщилась: видимо, от помарок и несуразицей письменной речи, — “...в ходе проверки обнаружил в мешке Горяинова карты игральные...”

— Карты не мои. Я играть-то не умею. Мне их подкинули, — быстро сказал Артём.

Галина подняла глаза — они были зелёного цвета, — и очень спокойно, почти без эмоций, произнесла:

— Я. Ещё. Ничего. Не. Спра. Ши. Ва. Ла.

Артём замолчал.

Галина карандашом почесала лоб так торопливо, словно там только что сидела муха и теперь осталась щекотка от мушиных лапок.

За спиной Галины на стене висели бликующие, чистые, — видимо, протёртые — портреты Троцкого и Дзержинского. Ленина почему-то не было.

Стараясь не привлекать внимания, Артём скосился в одну сторону, в другую — вдруг главный большевик где-то ещё есть, пока не замеченный... Впрочем, крутить головой не стоило — Галя чуть сдвинула бумаги, и Артём увидел на столе, под стеклом, портрет Ленина из “Огонька” и рядом — портрет Эйхманиса, вырезанный из газеты и наклеенный на толстую бумагу или картон: чтоб не смялся и не стёрся.

— Откуда карты? — спросила Галина.

— Я объясняю, — терпеливо повторил Артём. — Не мои. Подбросили.

— Афанасьев? — быстро спросила Галина.

— Почему? — спросил Артём, шатнувшись на стуле и с трудом удержавшись.

— Афанасьев играет в карты.

— Может, играет, но не рисует, — пожал Артём плечами.

— Но карты у него могли быть? — спросила Галина.

Артём опять пожал плечами, на этот раз ничего не говоря.

Галина ироническим взглядом оценила этот жест. Артём почувствовал себя глупо: “Жму плечами, как гимназист...”

— Индус Курез-шах действительно не умеет говорить по-русски? — прозвучал неожиданный вопрос.

— Я не знаю. Он только пришёл, а я... попал в больницу, — Артём улыбнулся.

— Василий Петрович ничего не говорил о своём прошлом?

— Что-то было...

— Что?

— Занимался охотой. У него была собака Фет. Он из образованной семьи, отец говорил на нескольких языках... — Артём неожиданно понял, что ничего толком о Василии Петровиче не знает.

— Во время гражданской войны он чем занимался? — бесстрастно спросила Галина, по-прежнему разглядывая разные бумаги на столе и время от времени трогая карандашом свой висок. Глядя на это, Артёму самому сильно захотелось почесать там, где ещё вчера были нитки.

— Воевал, — неуверенно ответил Артём.

— С кем?

Артём озадаченно молчал. Как-то нужно было грамотно и необходимо ответить: с вами? С большевиками?

— Слушайте, вы у него спросите, я на самом деле не очень знаю. Я просто всегда был уверен, что он сидит как каэр, — ответил Артём.

Его куда больше волновало, что в комнате явственно пахло духами. Он

даже немного захмелел от этого запаха: никаких духов он не слышал уже давным-давно.

— А вы что не воевали? — спросила Галина.

— С кем? — спросил на этот раз Артём.

Галина, в отличие от него, долго слов не подбирала.

— С нами, — ответила она просто. — Или против нас.

Артём мысленно отметил, что и “с нами”, и “против нас” вполне может означать одно и то же, и особого выбора тут нет.

— Вы же знаете, я по возрасту не подлежал призыву.

— Афанасьев не рассказывал, встречался ли он с поэтом Сергеем Есениным накануне его самоубийства? — спросила Галина.

“Прыгает с места на место”, — быстро подумал Артём и тут же ответил: — Нет.

Галина аккуратно прихватила самый кончик карандаша зубками. В одном из соседних помещений кто-то болезненно и коротко вскрикнул — словно человека ударили, и он тут же потерял сознание.

На крики Галина не отреагировала, даже не подняла глаз, только, убрав карандаш, быстро облизала губы кончиком язычка.

— Смотрите, Горяинов, — сказала она чуть громче, чем говорила до сих пор. — У вас обнаружены карты — запрещённая вещь. Откуда они взялись, вы не знаете. Это раз. Неделю карцера вы заслужили... Вы устроили драку с командиром взвода и командиром роты. Неподчинение приказам сотрудников администрации — ещё от недели до полугода карцера. А нападение на сотрудников администрации — высшая мера социальной защиты, то есть расстрел. Это два.

— Я не нападал, — сказал Артём, в ответ Галина вертикально подняла карандаш: тишина, ясно?

— На этом можно закончить, но тут не всё, — продолжила она. — Принуждение женщины к сожительству — ещё месяц карцера.

“Монах стучит? Или Жабра?” — подумал Артём, покрываясь противным потом. Секунду раздумывал: сказать, что не имел никакого “сожительства”, или не стоит? — но не успел.

— Подделка подписи при получении посылки в результате стовора с заключённым из числа антисоветски настроенного духовенства. Ещё от трёх дней до двух недель карцера, — Артём сморгнул, как будто ему сыпали на голову что-то ненужное, вроде соломенной трухи. — Наконец, симуляция во время нахождения в лазарете. “...Больной Горяинов... симулировал горячку...” — прочитала Галина на одном из листков.

— Зачем мне симулировать, если я “больной”? Вы же сами видите, что они пишут? — с некоторой, неожиданной для себя насмешливой дерзостью быстро ответил Артём. — Там эта медсестра — она же не медик, она чёрт знает кто...

— Заткнись, — вдруг сказала Галина просто. У Артёма упало сердце от её голоса; губы её, которые только что казались красивыми и возбуждающими, тут же показались тонкими, злыми, старушечьими. — Вас можно ликвидировать немедленно. А можно посадить в карцер ровно до окончания вашего срока.

— Чтоб я там сдох? До окончания нашего срока? Я могу объясниться по каждому случаю, — не унимался Артём; голова его кружилась, он понимал, что надо торопиться изо всех сил, ужасно торопиться.

— Заткнись, — ещё раз повторила Галина, но только громче и злей.

Артём на полуслове закрыл рот, как будто муху поймал. Сидел с этой мухой во рту: нестерпимо хотелось открыть рот и произнести ещё сто слов и даже тысячу самых нужных слов, они все зудели и бились у него во рту.

Три минуты они молчали.

“Это всё, — повторял Артём. — Это уже всё... это бравада, о которой мне говорили... Это уже всё, точно. Или что-то нужно сказать? Нет, это всё. Почему я не падаю в обморок от страха? Ведь это всё...”

— Страшно? — спросила Галина; в углу её гадких старушечьих губ мелькнула улыбка.

Артём сглотнул слюну и промолчал.

В углу кабинета за её спиной стоял вместо сейфа сундук, закрытый на замок. Там, наверное, хранились самые важные документы.

“Или она там свои трусы держит?” — подумал Артём с бешенством.

— Есть другой выход, — сказала Галина. — Потому что вы молодой человек, и цепь случайностей... Могла привести.

“Не много моложе тебя, сука, — подумал Артём и сразу же, без перерыва: — Милая, родная, самая милая, самая родная, не убивай меня, я буду целовать твои ноги, пожалуйста!”

— Вы, мне кажется, можете встать на путь перековки, — Галина явно говорила чужими для неё словами, но других по такому случаю и не было, — ...и выйти по истечении срока или даже раньше — нормальным, хорошим, правильным советским человеком. Но нужно подготовиться, чтоб подобных случаев не было впредь, да?

— Конечно, — сказал Артём.

Он дышал через рот. Язык был сухой. Он чувствовал свой сухой язык и сухое, холодное небо.

— Чтоб вам не вбрасывали карты, мы должны знать, кто их может вбросить, так?

— Так, — ответил Артём, всё уже понимая.

— Чтоб не было симулянтов. Чтоб здесь тайно не устраивали лагерникам случек, как для собак. Чтоб люди, попавшие сюда за проступки перед советской властью, не преумножали своей вины. Лучше это всё предотвращать заранее, а не доводить до карцера или высшей меры социальной защиты, так?

— Так, — повторил Артём, лихорадочно думая, что ему делать после того, как закончится всё это перечисление.

— Мы с вами подпишем бумагу, что вы будете — мне! лично мне! — способствовать и помогать во всех трудных случаях. Их много! Потому что десятники, взводные и ротные из числа всё тех же заключённых часто превратно понимают свои задачи и, следя за выработкой и дисциплиной, сами злостно нарушают дисциплину. Потому что контрреволюционеры, которым советская власть дала возможность исправить вину, только усугубляют её антисоветскими речами, которые, как и в гражданскую войну, могут стать делами. Потому что воры и убийцы — все эти блатные! — бессовестно пользуются ближайшим родством к рабочему классу, превращаясь в яркий асоциальный элемент с круговой порукой, пьянством и картёжничеством. Вы не хотите жить среди всего этого?.. Сколько вам ещё находиться здесь, на Соловках?

— Больше двух с половиной лет, — ответил Артём.

— Вот и думайте, как вам их прожить, — сказала Галина. — Просидеть в карцере? Или... выйти по заслуженной амнистии, отсидев половину? Кто у вас дома? Мать? Невеста?

— Мать.

— Мама ждёт... Почему она вам не пишет писем?

Артём замешкался.

— Так получилось. Шлёт посылки. Только что прислала, — ответил он, тут же вспомнив, что Галина знает о посылке и даже о том, как Артём её получил.

— Ой, — как-то совсем по-домашнему сказала Галина, увидев ещё одну бумагу на столе. — У вас ещё драка в лазарете. Вы избили Алексея Яхнова.

— Кого? — удивился Артём. — Жабру, что ли?

— Какую жабру? — спросила Галина, без особого, впрочем, интереса, уже протягивая Артёму какой-то самый важный листок с распечатанными буквами. — Вот тут форма, надо лишь расписаться.

— Слушайте, — Артём даже сделал неосознанное движение, чтоб сдвинуть табуретку назад, но снова едва не упал. — Мне ещё нечего... — он приветал и постарался установить табурет крепче, — совсем нечего рассказывать о нарушениях. Но я со всем согласен, с каждым вашим словом. Это нужное дело!

— Ну, так расписывайтесь, — сказала Галина, по-прежнему держа листок на весу. Она даже привстала, чтоб Артёму было ближе дотянуться, левой рукой тут же оправив сзади юбку.

Артём против воли скользнул по фигуре Галины взглядом. Она была хороша... эта юбка... и эти, чёрт, духи... Живот у неё — как он пахнет? Если живот без одежды?

— Давайте знаете, как сделаем, — попросил Артём, улыбаясь и вкладывая все свои силы, всё естество, всю нежность, всё человеческое, всё честное, всё самое сердечное в свою просьбу. — Я уйду и всё обдумаю, и наверняка буду вам полезен. Я помогу. И вы меня вызовете — да хоть даже завтра... или послезавтра... И я уже приду... — “Как сказать? — думал Артём. — С донесением? Какая мерзость! С рассказом? А что не с романом? Не со стихами?” — ...я приду и уже что-то... важное расскажу. Чтоб вы увидели, что я способен к работе. Что я нужен. И тогда мы сразу всё это подпишем. А сейчас — я ещё ничего не сделал, а уже подпишу. А если ничего не смогу сделать?

— Сможете, я вижу, Артём, — она впервые назвала его по имени, это прозвучало так голо, так остро, так приятно, как если бы она показала живот, немного голого живота... Или увидела немного его голого тела и назвала это тело по имени...

— Нет, я прошу вас, — Артём не знал, как к ней обратиться. — Я прошу. И я обещаю. Что ж я, сейчас подпишу... а пользы от меня никакой? Надо, чтоб уже была польза. В следующую же встречу я...

— “Встречу...” — тихо передразнила его Галина, садясь на место.

Ещё минуту она молчала, наглядно недовольная.

— Ну, я надеюсь, — сказала Галина с лёгкой неприязнью. — Тогда разбирайте вещи и возвращайтесь в роту. Вы ведь здоровы?

— Здоров, — ответил Артём, хотя уверенно подумал: “Я ужасно болен. Я скоро сохну”.

Галина опять потрогала карандашом свой висок.

Висок был бледный, чуть впалый. На карандаш упала тёмная прядь.

— Так не ваши карты? — спросила Галина.

— Да нет. Я играть-то не умею, говорю.

— А что умеете? — Галина разговаривала отстранённо, думая о чём-то другом.

— Не знаю... — Артём посмотрел на прядь и, сам от себя не ожидая, пощупил самой дурацкой шуткой, которая могла ему прийти сейчас в голову. — Целоваться умею.

Галина отняла карандаш от виска, словно он мешал бы ей поднять удивлённые глаза.

Иронически осмотрела Артёма. Отёк с той половины лица, где его подшивали, ещё не спал окончательно... Нос этот припухший, потный лоб, грязные волосы, сухие губы... Прямо смотрящие глаза, где наглость и лёгкий испуг замешались одновременно...

Она сделала короткое движение карандашом: выйди отсюда, дурак.

* * *

На обитом, затоптанном, сколоченном из двух деревянных брусков пороге Информационно-следственного отдела Артём некоторое время озирался в поисках своего красноармейца.

Подумав, решил вернуться обратно — не хватало ему ещё одного нарушения.

“Как это назовут? — думал Артём устало. — Побег из-под стражи?”

Его остановили на посту внизу:

— Кого ищешь?

Сопровождавший Артёма красноармеец сидел тут же, трепался о чём-то со старшим поста.

— Его, — указал Артём.

— Чего тебе? — спросил красноармеец.

— Меня отпустили назад в лазарет, — сказал Артём.

— И чего мне? Донести тебя? — спросил красноармеец, пихнув старшего поста: посмотри на чудака.

Оба зареготали, показывая тёмные рты с чёрными зубами.

— Компас не дать тебе? — крикнул постовой вслед, и зареготали снова.

“Из морячков”, — предположил Артём равнодушно, словно чуть подмороженный.

На улице стояло вечернее соловецкое солнце, пронизывая лучами тучи. Лучи мягко и скользко шли по-над кремлёвскими стенами, и всё в воздухе казалось подслащённым.

По пути в лазарет Артём размышлял обо всём одновременно, словно избегая думать о самом главном, но эти попытки были тщетными.

“...Солнце так светит... — вспомнил и передразнил он Афанасьева, — только на санках кататься по такому закату...”

“...Бойтся, что заложу его... — без улыбки смеялся Артём над Афанасьевым. — Три рубля дал! Хитрый рыжий сволочуга...”

Но зла на ленинградского поэта всё равно не было. Вспомнил про владычку Иоанна с мешком, в котором лежала посылка, и подумал: “...Сейчас немедленно всё сожру... удушусь, а съем — всё равно в роту идти... Может, оставят переночевать в лазарете?.. Пасть доктору Али в ноги?.. Нет, не выйдет...”

И дальше думал: “Как же люди могут полюбить Бога, если он один знает всё про твою подлость, твоё воровство, твой грех? Мы же всех ненавидим, кто знает о нас дурное? Я эту суку Галину ненавижу. Она знает, что меня можно прижать. Она меня прижала! Что делать теперь?”

Потом немного путано думал о Бурцеве, о Ксиве, ещё о Жабре — и, вспомнив, какой Жабра стал жалкий, глупый со своей зашитой рыбьей мордой, засмеялся вслух.

От собственного смеха ему стало противно — эта ненужная и невозможная теперь улыбка на лице заставила вернуться к тому, что нужно было понять: “Они же сделают меня стукачом. Или угробят в роте. Как мне выкрутиться? Как? Может быть, снова всё обойдётся?”

И сам себе ответил: “А вот нынче вечером тебя блатные порежут на куски — и обойдётся...”

Слабый человеческий рассудок подкинул Артёму решение: вернуться к Галине, подписать всё и попросить немедленно перевести в другую роту.

Одной частью сознания Артём уговаривал себя, что это стыдно, что он так не поступит, потому что не стукач и потому что не хочет никого ни о чём просить, тем более эту тварь... Но одновременно он понимал, что не идёт назад в ИСО по совсем другой причине.

И он проговорил себе вслух, что это за причина: “Она не переведёт тебя никуда, идиот! На кого ты будешь стучать в новой роте, где ты никого не знаешь? И с чего ей тебя переводить? С того, что ты струсил? Больше им заняться нечем, как переводить всех напуганных с места на место?..”

“Что значит струсил? — остервенело ругался Артём сам с собою. — Меня угробят сегодня или завтра! Проткнут! Как мне это принять? С открытым, чёрт, сердцем? Я что, бык на закляние?”

В лазарете, замученный этим внутренним диалогом, он упал на диван.

Спустя минуту владычка Иоанн принёс мешок с посылкой. Трудно, — видимо, его мучило больное колено — присел рядом.

— Спасибо, владычка, — сказал Артём, принимая мешок. Вообще ему стоило бы усесться на диване — нехорошо лежать рядом со священником, — но не было никаких сил: едва шевельнул рукой и раздумал.

— А лежи, лежи, — сказал владычка Иоанн. — Тебе силы ещё понадобятся...

Они помолчали.

Едва Артём захотел услышать его голос, владычка заговорил, словно в который уже раз понимал его мысли без слов.

— Всё ищешь, милый, правду или честь. А и правда, и честь —

здесь, — владычка показал Евангелие. — Возьми, я тебе подарю. Тебе это нужно, я вижу. Как только поймёшь всей душою, что Царствие Божие внутри нас есть, — будет тебе много проще.

— Нет, — сказал Артём твёрдо. — Не надо.

— Ой, не прав, милый, — сказал владычка, пряча Евангелие. — Ну, дай Бог тебе тогда... Дай Бог превозмочь всё.

Не успел владычка уйти, как в палату заглянули пожилая медсестра и монах. “За мной”, — понял Артём.

— Иду, иду, — сказал он громко с места, потому что медсестра уже раскрыла, было, рот, чтобы ругаться и понукать Артёма.

Братъ ему было нечего: мешок с вещами так и не был разобран — только миску да ложку оттуда вынимал.

Мешок с посылкой владычка Иоанн перевязал своим узлом.

Филипп лежал с закрытыми глазами, выставив отпиленную ногу наружу. Лажечников смотрел на Артёма, но словно не узнавал его. Артём свернул к нему по дороге, на ходу развязывая посылку — в посылке был сахар, он насыпал казаку полную плюшку.

— Ты? — спросил Лажечников еле слышно; прозвучало так, словно у него звук “т” лежал на языке, и он его вытолкнул.

Артём не ответил.

Жабра спрятался под покрывало, хотелось оголить его, съёрнуть напоследок, но Артём поленился, тем более что пожилая медсестра перетаптывалась за спиной, словно стояла на горячем полу.

— Ещё нет ли чего? — спросил батюшка Зиновий, заметивший, как Лажечникову пересыпали сахар.

Артём, заглянув в мешок, выловил недоеденную конскую колбасу, сунул в руки батюшке.

— А сахарочку? — попросил он уже в спину Артёму. — Сахарочку бы тоже?

На больничном посту Артёма остановили: видимо, искали его учётную карточку, а потом ещё и доктора Али, чтобы он в ней расписался. И всё это второпях, лишь бы выставить его поскорее.

Владычка Иоанн, несмотря на болезненную хромоту, вышел проводить Артёма и торопливо шептал, как будто они могли и не увидеться:

— Я вот так размышляю: ты не согрешил сегодня — и Русь устояла.

Он словно бы догадался, что происходило с Артёмом в ИСО, и от этого Артёму было ещё дурней на душе и раздражительней.

— Здесь все грешат, — быстро отвечал Артём; отчего-то он себя чувствовал, как на вокзале: ему пора было уезжать, и теперь все слова были лишними, но он их зачем-то произносил, — грешат во сто крат больше нас...

— А ты не за них отвечай, а за Русь, — скороговоркой говорил владычка Иоанн. — Они грешат, а ты уравнивай. Праведное дело больше весит, чем грех!

— Нет! — с трудом сдерживая злобу, отвечал Артём. — Грешить — и спасаешься, а праведное — ни на шаг над землёй не поднимает, а тянет на дно.

— Бог правду видит, да не скоро скажет, — совсем уже беспомощно даже не говорил, а просил владычка.

— В ИСО его надо, пусть бы там всё сказал, — отвечал Артём с улыбкой, которая на лице его была как чужая — даже челюсти от неё сводило.

— Ангел тебе в помощь, милый, — сказал владычка, когда монах раскрыл Артёму дверь: проваливай.

— Где просто — там ангелов со сто, а где мудрено — нет ни одного, — надерзил Артём напоследок. Произнёс всё это громко, но не оборачиваясь. Владычку видеть больше не хотел.

В роту Артём шёл деловой походкой, как на рыбалку. Черпал из мешка присланный матерью сахар и ел с руки: через минуту ладонь стала сладкой, липкой, шершавой, мухи кружились возле лица и с размаху вшибались то в щёки, то в лоб от жадности и удивления. Артём отмахивался, потом вытирался сахарной рукой.

— За Русь отвечай! — вслух дразнил отсутствующего владычку Артём, хрустя сахаром на зубах. — А вот завтра вызовут к Галеньке — и про всю Русь буду отвечать. Всё за эту Русь расскажу.

Хохотнул — и изо рта брызнул по сторонам сахар. Шагавший мимо из бани чекист в тюленьей куртке на голое тело, несмотря на тепло, недовольно оглянулся на хохот, но Артёму было плевать.

— Ваше Евангелие, — ругался Артём, — не помирило даже владычку Иоанна с побирушкой Зиновием, а их вместе — с монахом. С кем оно может помирить меня?

Встретил оленя Мишку, тоже потянувшегося к сахарку. “Переживу ночь или нет?” — думал он, усевшись прямо на землю и подставляя оленю очередное лицо и руки: тот облизывал Артёма, часто моргая и торопясь.

Над ними, истерично вскрикивая, метались чайки.

В прихожей для дневальных чеченцы улыбнулись Артёму, как долгожданному.

— Привет, брат! — сказал Хасаев и даже хлопнул его по плечу. — А что ты не в карцере?

Артём мысленно хмыкнул, ничего не ответил и твёрдо шагнул в пахучую свою двенадцатую конюшню, псарню, скотобойню, мясорубку.

* * *

Едва Артём вошёл в роту, Моисей Соломонович запел.

Песня была незнакомая и грустная: “Он был в кожаной тужурке, тридцать ран на груди...”

Ксиву Артём увидеть не ожидал, но сразу же встретился с ним глазами. Тот заулыбался, с некоторой даже ласкою разглядывая мешки в руках Артёма.

Артём, расталкивая лагерников и не отвечая на приветствия тех, кто с ним здоровался, поспешил к своим нарам.

Василий Петрович встал ему навстречу, собирался вроде бы обнять, но Артём пробормотал что-то невразумительное, забрался наверх и там уже приступил к тому, что собирался сделать.

— Митя, — позвал Щелкачова. — Ты не слушай меня, живи своим умом... Угощайся вот лучше.

Выхватил из мешка две вяленые рыбины с отсутствующими глазами.

— А вы? А ты? — спросил Щелкачов.

— А меня в другую роту переводят, на повышенное довольствие, — ответил Артём. — Тройной паёк! Моисей Соломонович, идите, идите сюда. Прекратите петь на минуту.

Тот не заставил себя ждать.

— Хорошо поёшь, Соломоныч. Не портишь песню. Спой мне, знаешь, какую? “Не по плису, не по бархату хожу, а хожу-хожу по острому ножу...” У меня, знаешь, были плисовые штаны и хоть не бархатная, но шёлковая рубашка. И ещё отец через особую дощечку с вырезами натирал мне пуговицы гимназического мундира. У меня, представь, был отец. Спой?

— “Не по плису”? — переспросил Моисей Соломонович с удовольствием, кивая и улыбаясь. — Да, да, — но петь не стал, понёс поскорее, пока не передумали, насмерть запечатанную железную банку с подсолнечным маслом.

— Афанасьев! Рыжая сволочуга! — обрадовался Артём, когда дремавший рыжий поэт свесился с третьего яруса своим чудесным чубом. — А у меня для тебя сюрприз! Что тут у нас в этой жестянке? Конфеты! Чтоб их грызть! Держи!

Курез-шах и Кабир-шах получили на двоих остатки сахара в отдельном мешочке и долго улыбались и кланялись. Авдею Сивцеву достался последний кусок колбасы.

— Чтоб твоя лошадка тебя дождалась, Сивцев! — пожелал Артём.

Фельетонист Граков, молча вставший за своей очередью, удостоился связи баранок.

— Ой, и ты тут, Самовар, — удивился Артём. — Держи подболоточной муки и с генералом своим не делись. Его и так теперь хорошо кормят.

— Какого генерала? — спросил Самовар, с достоинством принимая дары.

— Фельдмаршала, — устыдился Артём. — Фельдмаршала Бурцева.

Самовар наглядно, всеми своими надбровными дугами обиделся, но муки не вернул.

— Ешьте, милые, я вас всех скоро дам с потрохами. Если доживу, — шептал Артём, оглядывая лагерников.

Они действительно принялись немедленно есть: странно прятать в заначку то, чем угостили.

— Василий Петрович, — Артём легко прыгнул вниз. — Смотрите, сколько я вам чаю принёс! До зимы хватит точно... И орехов. А где наша зайчатина? Где китаец желтолицый? У меня ещё рис для него есть.

— Китаец?.. Китайца взводный Мстислав Бурцев перевёл в карцер, — ответил Василий Петрович, скорее с грустью, чем с любопытством рассматривая Артёма.

— Вот как, — отозвался Артём тем тоном, как если бы ему сообщили о небезынтересной светской новости, — Василий Петрович, я б отдал вам всю посылку, но вас бы за неё наши блатные зарезали, — сказал Артём свистящим шёпотом.

Василий Петрович сморщился: похоже, ему была болезненна ситуация, в которой Артём был вынужден паясничать. Он не мог его прервать, но и терпеть не хотел.

По крайней мере, Артём так всё это понял, но остановиться уже не мог.

Когда явился Ксива, замешкавшийся с поиском товарищей, мешок был пуст.

— Готовил тебе половину, а тут вот какая незадача: всё разобрали, — сказал ему Артём. — Вот возьми хотя бы мешок. Может, платье себе сошьёшь из него.

Ксива молча смотрел, играя желваками. Губа его озадаченно свисала при этом, чуть шевелясь.

Объявляли вечернюю поверку, был слышен буйный и пьяный голос Кучеравы. По рядам пошёл Бурцев, в руке у него был стилет. Он помахивал им.

— Загиб Иванович ночью к тебе придёт, — сказал Ксива Артёму. — Дождёшься? Или можешь прямо сейчас удавиться.

— Почему удавиться? — спросил Артём. — Дождусь.

Афанасьев сидел на своих нарах и всё это наблюдал, не говоря ни слова. Загибом Ивановичем здесь называли смерть.

(Окончание следует)